

Николай БЕРДЯЕВ

Самопознание:
учение Бердяева с комментариями

О новом мире

О личности, космосе, человечности и обществе

О Боге, роке и свободе человека



Бестселлеры эзотерики

Николай Бердяев

**Самопознание. Учение
Бердяева с комментариями**

«АСТ»

2018

УДК 141.33
ББК 86.42

Бердяев Н. А.

Самопознание. Учение Бердяева с комментариями /
Н. А. Бердяев — «АСТ», 2018 — (Бестселлеры эзотерики)

ISBN 978-5-17-105709-1

Фамилия Бердяев малоизвестна современному читателю. А если известна, то с настораживающим эпитетом «философ». Откройте для себя Бердяева – глубоко верующего христианина, мистика, эзотерика и пророка. Он предсказал ужасающую экспансию фашизма, системный крах коммунизма и ложь демократии. «Лишь свобода должна быть сакрализована, все же ложные сакрализации, наполняющие историю, должны быть десакрализованы». Прочтя эту книгу, вы обретете понимание собственной свободы в творчестве и вере. «Человек есть многосоставное существо, он несет в себе образ мира, но он не только образ мира, он также образ Божий».

УДК 141.33

ББК 86.42

ISBN 978-5-17-105709-1

© Бердяев Н. А., 2018

© АСТ, 2018

Содержание

Духовидец не из нашего измерения	6
Оцарапанный жизнью	12
Происхождение	13
Учеба	18
Пейзаж души	24
Огонь и лед	28
Я упреждал события во времени	30
Образ Божий	33
Богочеловек	37
В моем «я» есть многое не от меня	39
Я пытался создать миф о человеке	41
Последние годы жизни	48
Смерть любимой жены	51
Эволюционировал ли человек?	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Николай Александрович Бердяев

Самопознание: учение

Бердяева с комментариями

© Лиственная Е.

© ООО «Издательство АСТ»

Духовидец не из нашего измерения От редактора

«Торжество духовного начала означает не подчинение человека универсуму, а раскрытие универсума в личности».

Бердяев Н.А. «О свободе и рабстве человека. Опыт персоналистической философии»

Своей пронзительной, отчасти даже иступленной откровенностью в самонаблюдении Николай Александрович Бердяев не оставил тайн для исследователей истории его жизни и творчества. Поэтому биографическую часть данной книги было и легко, и сложно компоновать, следуя прихотливой «хронологии» его опыта философской автобиографии, названного «Самопознание». Отношение Бердяева ко времени – тема совершенно не исследованная (и напрасно), он жил словно в некоем внешнем, может параллельном, по отношению к своему (и нашему) времени.

Легко составлять его биографию, потому что все важные вехи своей жизни Николай Александрович сам обозначил и разъяснил: «Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть.

Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию ее победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я еще не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании. И вместе с тем я никогда не был человеком политическим. Ко многому я имел отношение, но, в сущности, ничему не принадлежал до глубины, ничему не отдавался вполне, за исключением своего творчества. Глубина моего существа всегда принадлежала чему-то другому», – звучит поразительно современно, особенно строка о войне против России. Не случайно именно сейчас активизировался интерес читателей и исследователей к тем, кто всегда и везде оставался русским по-настоящему: в самом сердце, всей душой и разумом.

А сложно писать биографию Николая Александровича, потому что он считал, что: «Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек микрокосм и заключает в себе все. Но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуально-особенное. Человек есть также существо многоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою многоэтажность. Огромное значение имеет первая реакция на мир существа, в нем рождающегося. Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир, одинаково чувствовал это и в

первый день моей жизни, и в нынешний ее день. Я всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не имеющими здесь пребывающего града и града грядущего взыскующими. Но то первичное чувство, которое я здесь описываю, я не считал в себе христианской добродетелью и достижением. Иногда мне казалось, что в этом есть даже что-то плохое, есть какой-то надлом в отношении к миру и жизни. Мне чуждо было чувство вкорененности в землю. Мне более свойственно орфическое¹ понимание происхождения души, чувство ниспадания ее из высшего мира в низший.

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли².

У меня никогда не было чувства происхождения от отца и матери, я никогда не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому характерное мое свойство. Я не люблю семьи и семейственности, и меня поражает привязанность к семейному началу западных народов. Некоторые друзья шутили называли меня врагом рода человеческого. И это при том, что мне очень свойственна человечность. У меня всегда была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и сестер. Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности. Я любил лишь „лица необщее выражение“³. Но ошибочно было бы думать, что я не любил своих родителей. Наоборот, я любил их, считал хорошими людьми, но относился к ним скорее как отец к детям, заботился о них, боялся, чтобы они не заболели, и мысль об их смерти переживал очень мучительно. У меня всегда было очень слабое чувство сыновства. Мне ничего не говорило „материнское лоно“, ни моей собственной матери, ни матери-земли. Мать моя была очень красива, ее считали даже красавицей. В 50 лет она была еще очень красивой женщиной. Но я никогда не мог открыть в себе ничего похожего на Эдипов комплекс, из которого Фрейд создал универсальный миф. Родство всегда казалось мне исключаяющим всякую влюбленность. Предмет влюбленности должен быть далеким, трансцендентным, не похожим на меня. На этом ведь был основан культ „прекрасной дамы“. Я русский романтик начала XX века» Обе цитаты взяты из его книги «Самопознание. Опыт философской автобиографии». В мире она известна под коротким – «Самопознание» – и длинным вышеприведенным названием, потому что издана была уже после смерти автора. Но в СССР любое из этих названий произносили шепотом, как и фамилию автора.

Родившись в СССР – стране пчел, муравьев и винтиков, я знала, что за чтение Бердяева (как и многих других запрещенных авторов) можно получить тюремный срок или принудительное «лечение» в психбольнице. Но мой папа диссидент (избалованный, но неприкаемый профессорский сынок) цитировал Николая Александровича моей маме (девушке богемной – художнику-оформителю, или дизайнеру, как сейчас говорят), когда я была еще в ее утробе. Поэтому Бердяев близок мне, как натальный крестик православному человеку. Близок изнутри (простите за каламбур) – по духу и миропониманию: «Личность не может быть частью какого-либо иерархического целого, она есть микрокосм в потенциальном состоянии. (...) Личность не вмещается в непрерывный, сплошной процесс мировой жизни, она

¹ Орфизм – мистическое учение в Древней Греции и Фракии, связанное с именем мифического поэта и певца Орфея. Возникло ориентировочно в VI веке до н. э. Учение носило подчеркнуто эзотерический характер, что сближает его с пифагорейством и элевсинскими мистериями. По некоторому мнению, орфизм стал прообразом более поздних монотеистических религий, в частности, христианства, поскольку означивал собой переход от многобожия к поклонению Единому Богу. Орфики верили в воздаяние после смерти (также есть элементы метемпсихоза), бессмертие души («заточённой» в «темницу» тела), раздвоенность человеческой природы на доброе (естество Загрея-Диониса) и злое (естество растерзавших его титанов) начала.

² Строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Ангел» (1831).

³ Перефразирована цитата из стихотворения Е.А.Баратынского «Муза» (1829).

не может быть моментом или элементом эволюции мира. Существование личности предполагает прерывность, необъяснимо никакой непрерывностью. Человек, которого только и знает биология и социология, человек, как существо природное и социальное, есть порождение мира и происходящих в мире процессов. Но личность, человек, как личность, не есть дитя мира, он иного происхождения. И это делает человека загадкой. Личность есть прорыв, разрыв в этом мире, внесение новизны. Личность не есть природа, она не принадлежит к объективной, природной иерархии, как соподчиненная её часть. Человек есть личность не по природе, а по духу. По природе он лишь индивидуум. Личность не есть монада, входящая в иерархию монад и ей соподчиненная. Личность есть микрокосм, целый универсум. Только личность и может вмещать универсальное содержание, быть потенциальной вселенной в индивидуальной форме. Это универсальное содержание не доступно никаким другим реальностям природного или исторического мира, всегда характеризуемым, как часть. (...) Личность не составляется из частей, не есть агрегат, не есть слагаемое, она есть первичная целость. Возрастание личности, реализация личности совсем не означает образования целого из частей, но означает творческие акты личности, как целого, ни из чего не выводимого и ни из чего не слагаемого. Образ личности целостный, он целостно присутствует во всех актах личности. Личность имеет единственный, неповторимый образ, Cestalt. (...)

Личность не может быть детерминирована изнутри и Богом. Отношение между личностью и Богом не есть каузальное⁴ отношение, оно находится вне царства детерминации, оно внутри царства свободы. Бог не объект для личности, он субъект, с которым существуют экзистенциальные отношения. Личность есть абсолютный экзистенциальный центр. (...)

Личность не порождается родовым космическим процессом, не рождается от отца и матери, она происходит от Бога, является из другого мира. Она свидетельствует о том, что человек есть точка пересечения двух миров, что в нем происходит борьба духа и природы, свободы и необходимости, независимости и зависимости».

Я не претендую на сколь-нибудь полное понимание Николая Александровича. Но не только я его не понимаю, пожалуй, еще никто в мире сегодня до конца его понять не может – такова особенность его личности и отсутствие у нас идеи нового социального строя, который бы стал мостиком между нами и вневременным духовидцем Бердяевым. Как нам понять того, кто предсказал появление фашизма и его агрессивность: «В Западной же Европе я ясно увидел, насколько антикоммунистический фронт движется интересами буржуазно-капиталистическими или носит характер фашистский», – в 1939 году в книге «О свободе и рабстве человека. Опыт персоналистической философии»? Того, кто отрицал *все* когда-либо существовавшие и еще только нарождавшиеся социальные формации? «Но личность в человеке не есть вещь физического мира. Философия жизни ведет к растворению человеческой личности в космическом и социальном процессе. Антиперсоналистичны дионисизм⁵, натуралистическая пантеистическая мистика, теософия, антропософия, коммунизм, фашизм, так же как и либерализм (ныне это демократия – Е.Л.), связанный с капиталистическим строем» Или вот предсказание краха и безбожности империалистического – самого казалось бы прогрессивного на тот (или и на этот?) момент общества: «Тиран есть создание масс, испытывающих перед ним ужас. Воля к могуществу, к преобладанию и господству есть одержимость, это не есть воля свободная и воля к свободе. Одержимый волей к могуществу находится

⁴ Каузальность (лат. causalis) – причинность; причинная взаимообусловленность событий во времени.

⁵ Дионисизм означает освобождение беспредельного влечения, взрыв необузданной динамики животной и божественной природы; поэтому в дионисийском хоре человек появляется в виде сатира, сверху – бог, снизу – козел. Это – ужас от попрания принципа индивидуации и вместе с тем «блаженный восторг» от того, что он погран. Поэтому дионисизм можно уподобить опьянению, разлагающему индивидуальное на коллективные влечения и содержания, это – расторжение «эго», замкнутого миром.

во власти рока и делается роковым человеком. Цезарь-диктатор, герой империалистической воли, ставит себя под знаком фатума. Он не может остановиться, не может себя ограничить, он идет все дальше и дальше к гибели. Это человек обреченный. Воля к могуществу ненасытима. Она не свидетельствует об избытке силы, отдающей себя людям. Империалистическая воля создает призрачное, эфемерное царство, она порождает катастрофы и войны. Империалистическая воля есть демониакальное извращение истинного призвания человека. В ней есть извращение универсализма, к которому призван человек. Этот универсализм пытаются осуществить через ложную объективацию, через выбрасывание человеческого существования вовне, через экстерииоризацию, делающую человека рабом».

Мы просто не представляем, о каком обществе пишет этот философствующий пророк, какой строй может избежать вот этих «зол», которые не приемлет свободный дух Бердяева: «Что воля к могуществу, империалистическая воля противна достоинству и свободе человека, совершенно ясно. Да и империалистическая философия никогда не говорила, что защищает свободу и достоинство человека. Она экзальтирует насилие над человеком как высшее состояние. Но самая проблема насилия и отношение к ней очень сложно. Когда возмущаются против насилия, то обыкновенно имеют в виду грубые и бросающиеся в глаза формы насилия. Человека бьют, сажают в тюрьму, убивают. Но человеческая жизнь полна незаметными, более утонченными формами насилия. Психологическое насилие играет ещё большую роль в жизни, чем насилие физическое. Человек лишается свободы и становится рабом не только от физического насилия. Социальное внушение, испытываемое человеком с детства, может его поработить. Система воспитания может совершенно лишать человека свободы, делать его неспособным к свободе суждения. Тяжесть, массивность истории насилуют человека.

Насиловать человека можно путем угрозы, путем заразы, которая превратилась в коллективное действие. Порабощение есть убийство. Человек всегда посылает человеку токи жизни или токи смерти. И всегда ненависть есть ток смерти, посланный другому и насилующий его (здесь и далее выделено мной – Е.Л.⁶)

Ненависть всегда хочет лишит свободы. Но поразительно, что и любовь может стать смертельной и послать ток смерти. Любовь порабощает не менее, чем ненависть. Человеческая жизнь пронизана подпольными токами, и человек попадает незримо в атмосферу, его насилующую и порабощающую.

Кристаллизовавшееся, затверделое общественное мнение делается насилием над человеком. Человек может быть рабом общественного мнения, рабом обычаев, нравов, социально навязанных суждений и мнений.

Трудно переоценить совершаемое в наше время насилие прессой. Средний человек нашей эпохи имеет мнения и суждения той газеты, которую он читает каждое утро, она подвергает его психическому принуждению. А при лживости и подкупности прессы результаты получаются самые ужасные в смысле порабощения человека, лишения его свободы совести и суждения. Между тем как это насилие сравнительно мало заметно. Оно заметно только в странах диктатуры, где фальсификация мнений и суждений людей есть государственное действие.

Есть ещё более глубокое насилие, это насилие власти денег. Это есть скрытая диктатура в капиталистическом обществе. Человека не насилуют прямо, заметным образом. Жизнь человека зависит от денег, самой безличной, самой бескачественной, на всё одинаково меняющейся силы мира.

⁶ Вообще-то книги Бердяева мало разделены на абзацы – текст монолитный и плотный, как и мысли в нем изложенные. Все жирные выделения в цитатах данной книги – это моя работа, потому что некоторые его мысли просто потрясающе метафоричны.

Человек не лишается прямо, путем физического насилия, свободы совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в материально зависимое положение, находится под угрозой голодной смерти и этим лишен свободы. Деньги дают независимость, отсутствие денег ставит в зависимость. Но и имеющий деньги находится в рабстве, подвергается незаметному насилию. В царстве мамоны человек принужден продавать свой труд и труд его не свободен» Цитаты в этой главе все взяты из книги Бердяева «О свободе и рабстве человека. Опыт персоналистической философии».

Задача данной, составленной из цитат и моих комментариев к ним, книги напомнить, что в истории России есть такой уникальный мыслитель, философ, психолог и, как сейчас говорят – эзотерик, который так опередил свое (и наше) время, что дай Бог нашим детям начать его понимать и придумать такой по-настоящему гуманный духовный социальный строй: «Авторитарному сознанию или авторитарному строю жизни нужно противопоставлять не разум, не природу и не суверенное общество, а дух, т. е. свободу, духовное начало в человеке, образующее его личность и независимое от объективированной природы и от объективированного логического мира».

* * *

Насколько прав был Бердяев в своих предчувствиях – легко можно убедиться на одном простом примере. Моя мама недавно подарила мне подвеску с ярким оранжевым прозрачным камнем, сказав, что это возможно цитрин или гранат... Задав поиск, чтобы точнее определить спессартин ли это, я всколыхнула ворох контекстных ссылок, которые с тех пор предлагают мне приобрести все оранжевые драгоценности мира. Это вызывало у меня ощущение, что камень очень модный, раз о нем *так много* информации. Но. «Но» везде есть, как учит Николай Александрович. *Но* модным этот вид граната будет *только для меня*. Вдумайтесь, для нас торжество *индивидуального подхода* обернулось... контекстной рекламой. Мог ли это предполагать Бердяев? Нет. Но он знал, что «Есть психология насилия индивидуального, и есть психология насилия коллективного, социального».

Он считал, что большевистское «по труду»⁷ не отвечало его идеалам: «В ином мире, мире духовности все свободно, все индивидуально, нет „общего“, нет необходимого. Мир есть объективированный, т. е. отчужденный от себя дух. (...) Свобода личности есть долг, исполнение призвания, реализация Божией идеи о человеке, ответ на Божий призыв. Человек должен быть свободен, не смеет быть рабом, ибо должен быть человеком. Такова воля Бога».

Но наша цивилизация так устроена, что любое изобретение сначала становится «ядерной бомбой», а лишь потом «атомной электростанцией». Так, например, глубокие исследования личности и утверждение важности индивидуального подхода – пока в наше время эксплуатируются в основном в продажах – носков, таблеток или политиков – все равно: приемы навязывания *несвободы выбора* везде одинаковы.

Мистико-теологические идеи Бердяева легли в основу множества направлений в психологии (Гештальт-терапия, например) и эзотерики, но пока не политики: «Освобождение от рабства есть освобождение от давящей идеи мирового порядка, который есть порождение объективации, т. е. падшести. Благая весть о наступлении Царства Божия противоположна миропорядку, она означает конец ложной гармонии, основанной на царстве общего. Проблема теодицеи не разрешима объективирующей мыслью в объективированном миро-

⁷ «От каждого по его способностям, каждому – по его труду» – так называемый «принцип социализма» (один из основных), провозглашенный в Конституции СССР 1936 года. Сама фраза стала широко известной благодаря Пьеру Жозефу Прудону (1809–1865 французский политик, публицист, экономист, философ-анархист и социолог).

порядке, она разрешима лишь в экзистенциальном плане, где Бог открывается, как свобода, любовь и жертва, где Он страдает с человеком и борется с человеком против неправды мира, против нестерпимых страданий мира. Не нужно, не должно оправдывать всех несчастий, страданий и зол мира при помощи идеи Бога-Промыслителя и Мировдержавца. Это дурно. Нужно обращаться к Богу для борьбы за свободу, за справедливость, за просветление существования».

Бердяев все еще не современен, точнее, мы пока не современны Николаю Александровичу, который так далеко впереди своим видением будущего справедливого сообщества свободных духовно развитых людей, что мы и представить *такого* не можем: «Деление мира на два лагеря, которое есть главный метод концентрации сил коммунизма и фашизма, есть деление военное и приспособленное для войны. Но это деление есть величайшая ложь. Это есть манихейство⁸, приспособленное для утилитарных целей борьбы и войны.

Это концентрированное деление наполняет людей ненавистью, готовит психологическую атмосферу войны.

Человечество не делится на царство Ормузда⁹ и Аримана¹⁰. В каждом человеке есть два царства – света и тьмы, правды и лжи, свободы и рабства. Реальное деление мира и человечества гораздо сложнее. Враг национальный, враг социальный, враг религиозный не есть сосредоточение мирового зла, не есть злодей, и он не есть и не может быть только врагом, предметом „священной“ ненависти, он человек со всеми человеческими свойствами национальной, социальной или религиозной группировки людей. Нужно перестать считать „свое“ непременно хорошим, а „чужое“ непременно дурным.

Только Евангелие провозгласило, что нужно любить врагов, выйти из порочного круга ненависти и мести. И это означает переворот в мире, поворот к иному миру, радикальное отрицание законов природного мира и царствующего в нем натурального порядка.

Между порядком Божиим и порядком мира существует глубокий конфликт, и тут невозможно взаимное приспособление, тут возможны только изменения. Различие между абсолютным и относительным есть порождение отвлеченной мысли. Истина, открывшаяся в Евангелии, не абсолютна, а конкретна и находится в царстве субъективности, а не в царстве объективности, она раскрывает свободу царства Божия.

Заповедь „не убий“, как голос Божий, остается в силе не только для отдельных людей, но и для человеческих обществ.

Но для того чтобы человеческие общества соблюдали эту заповедь, они должны свернуть с пути объективации человеческого существования, т. е. с пути рабства человека, и вступить на путь субъективации человеческого существования, т. е. на путь освобождения».

Мечтаю, чтобы наши дети увидели зарю новой цивилизации, настоящей *человеческой* цивилизации, как мечтал «инопланетянин» Бердяев.

⁸ Манихейство – религиозно-философское учение, пытавшееся объединить элементы восточных религиозных учений и христианство; все мировые процессы по этому учению трактуются как борьба добра со злом.

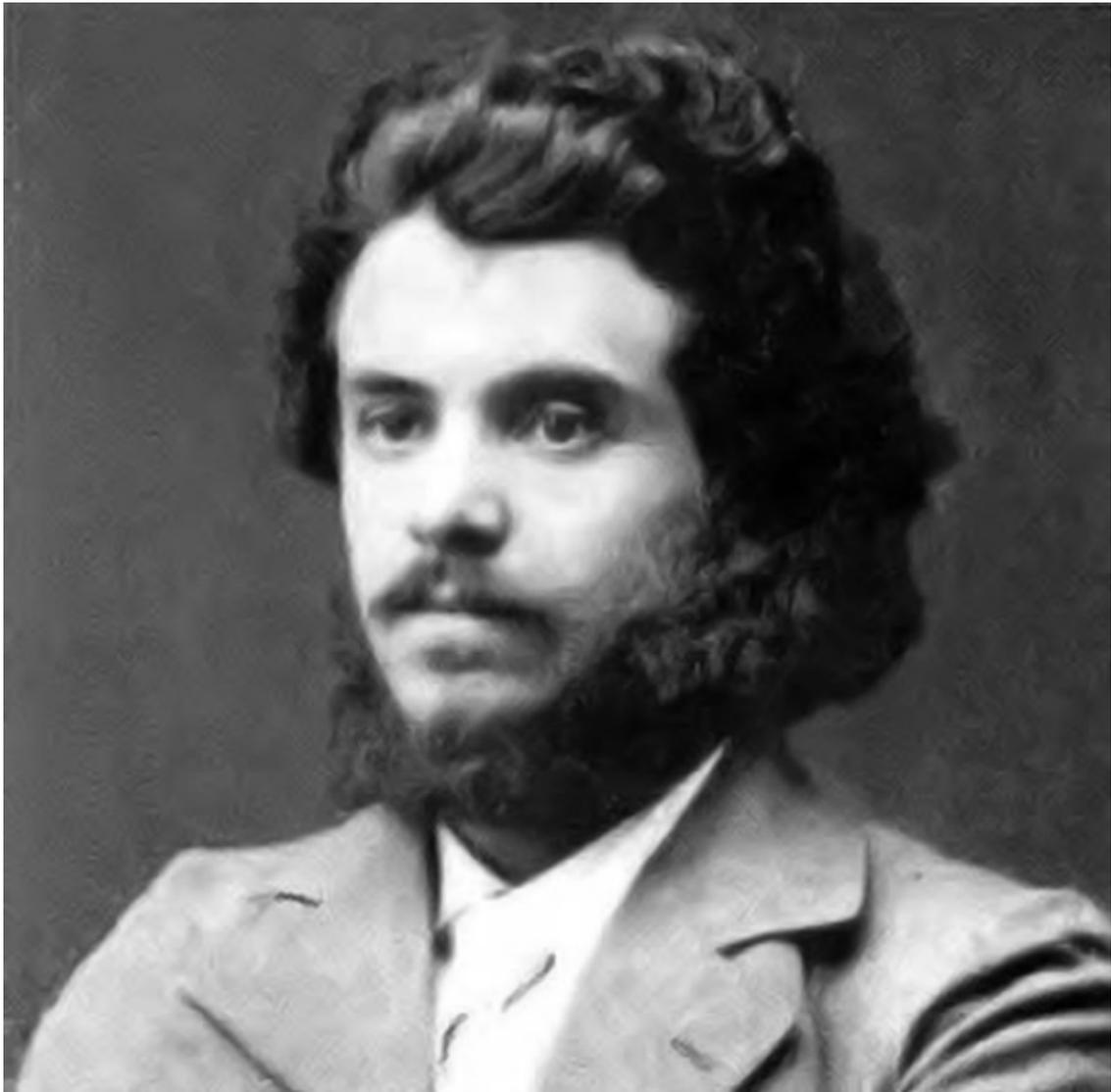
⁹ Ахурамазда, Ормазд или Ормузд, «Бог Мудрый» – авестийское имя божества, провозглашенное пророком Зороастром – основателем зороастризма – единым Богом.

¹⁰ Ариман (дух бедствий) – бог зла в религии древнего Ирана, основанной Зороастром.

Оцарапанный жизнью Биографическая часть

«Мне часто казалось, что я, в сущности, в „жизни“ не участвую, слышу о ней издали и лишь оцарапан ею».

Бердяев Н.А. «Самопознание. Опыт философской автобиографии»



Происхождение

По своему происхождению я принадлежу к миру аристократическому. Это, вероятно, не случайно и наложило печать на мою душевную формацию. Мои родители принадлежали к «светскому» обществу, а не просто к дворянскому обществу. В доме у нас говорили главным образом по-французски. Родители мои имели большие аристократические связи, особенно в первую половину жизни. Эти связи были частью родственные, частью по службе моего отца в кавалергардском полку. В детстве мне было известно, что мои родители были друзья обер-гофмейстерины княгини Кочубей, которая имела огромное влияние на Александра III. Дворцовый комендант, генерал-адъютант Черевин, тоже близкий Александру III, был товарищем моего отца по кавалергардскому полку.

Со стороны отца я происходил из военной семьи. Все мои предки были генералы и георгиевские кавалеры, все начали службу в кавалергардском полку. Мой дед М. Н. Бердяев был атаманом войска Донского. Прадед генерал-аншеф Н. М. Бердяев был новороссийским генерал-губернатором. Его переписка с Павлом I была напечатана в «Русской старине». Отец был кавалергардским офицером, но рано вышел в отставку, поселился в своем имении Обухове, на берегу Днепра, был одно время предводителем дворянства, в Турецкую войну опять поступил на военную службу, потом в течение 25 лет был председателем правления Земельного банка Юго-Западного края. У него не было никакой склонности делать карьеру, и он даже отказался от чина, который ему полагался за то, что более двадцати пяти лет он был почетным мировым судьей. Я с детства был зачислен в пажи за заслуги предков. Но так как мои родители жили в Киеве, то я поступил в Киевский кадетский корпус, хотя за мной осталось право в любой момент быть переведенным в пажеский корпус.

Мать моя была рожденная княжна Кудашева. Она была полуфранцуженка. Ее мать, моя бабушка, была графиня Шуазель. В сущности, мать всегда была более француженка, чем русская, она получила французское воспитание, в ранней молодости жила в Париже, писала письма исключительно по-французски и никогда не научилась писать грамотно по-русски, будучи православной по рождению, она чувствовала себя более католичкой и всегда молилась по французскому католическому молитвеннику своей матери. Я шутя ей говорил, что она никогда не перешла с Богом на «ты». Интересно, что у меня была бабушка монахиня и прабабушка монахиня. Мать моего отца, рожденная Бахметьева, была в тайном постриге еще при жизни моего деда. Она была близка к Киево-Печерской лавре. Известный старец Парфений был ее духовником и другом, ее жизнь была им целиком определена.

Помню детское впечатление. Когда умерла бабушка и меня привели на ее похороны, мне было лет шесть, я был поражен, что она лежала в гробу в монашеском облачении и ее хоронили по монашескому обряду. Монахи пришли и сказали: «Она наша». Бабушка моей матери, княгиня Кудашева, рожденная княжна Баратова, стала после смерти мужа настоящей монахиней. У меня и в советский период висел ее большой портрет масляными красками в монашеском облачении с очень строгим лицом. Бабушка Бердяева жила в собственном доме с садом в верхней старинной части Киева, которая называлась Печерск. Атмосфера Печерска была особая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром, где похоронена бабушка и другие мои предки. Вместе с тем Печерск был военной крепостью, там было много военных.

Это старая военно-монашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации. Киев один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софиевским собором, одной из лучших церквей России. К Печерску примыкали Липки, тоже в

верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами. Там всегда жили мои родители, там был у них дом, проданный, когда я был еще мальчиком. Наш сад примыкал к огромному саду доктора Меринга, занимавшему сердцевину Киева. У меня на всю жизнь сохранилась особенная любовь к садам. Но я чувствовал себя родившимся в лесу и более всего любил лес.

Все мое детство и отрочество связано с Липками. Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия. Наша семья, хотя и московского происхождения, принадлежала к аристократии Юго-Западного края, с очень западными влияниями, которые всегда были сильны в Киеве. Особенно семья моей матери была западного типа, с элементами польскими и французскими. В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой. Я с детства часто ездил за границу. Первый раз ездил за границу семи лет в Карлсбад, где моя мать лечила болезнь печени. Первое мое впечатление от заграницы была Вена, которая мне очень понравилась.

Из моих предков наиболее яркой и интересной фигурой был мой дед М. Н. Бердяев. О нем я слышал много рассказов с детства. Отец любил рассказывать, как дед победил Наполеона. В 1814 году, в Кульмском сражении, армия Наполеона побеждала русскую и немецкую армии. В той части русской армии, где находился мой дед, были убиты все начальствовавшие, начиная с генерала. Мой дед был молодым поручиком кавалергардского полка, но должен был вступить в командование целой частью. Он перешел в бурное наступление и атаковал французскую армию. Французы подумали, что противник получил подкрепление. Армия Наполеона дрогнула и проиграла Кульмское сражение. Мой дед получил Крест Святого Георгия и прусский Железный Крест.

Другой рассказ. Дед командует полком. Он исключительно хорошо относился к солдатам. Для военного времени Николая I он был исключительно гуманным человеком. По рассказам отца, он всегда с отвращением относился к крепостному праву и стыдился его. После того, как он был произведен в генералы и отправился на войну, солдаты его полка поднесли ему медаль в форме сердца с надписью: «Боже, храни тебя за твою к нам благодетель». Эта медаль всегда висела у отца в кабинете, и он особенно ею гордился.

Третий рассказ. Дед – атаман Войска Донского. Приезжает Николай I и хочет уничтожить казацкие вольности. Это была тенденция к унификации. Был парад войска в Новочеркасске, и Николай I обратился к моему деду, как начальнику края, с тем, чтобы было приведено в исполнение его предписание об уничтожении казацких вольностей. Мой дед говорит, что он считает вредным для края уничтожение казацких вольностей, и просит уволить его в отставку. Все в ужасе и ждут кар со стороны Николая I, который нахмурился. Но потом настроение его меняется, он целует деда и отменяет свое распоряжение. Уже старым и больным дед проявлял нелюбовь к монахам, хотя он был православным по своим верованиям.

Тут уместно сказать о некоторых наследственных свойствах характера нашей семьи. Я принадлежу к расе людей чрезвычайно вспыльчивых, склонных к вспышкам гнева. Отец мой был очень добрый человек; но необыкновенно вспыльчивый, и на этой почве у него было много столкновений и ссор в жизни. Брат мой был человек исключительной доброты, но одержимый настоящими припадками бешенства. Я получил по наследству вспыльчивый, гневливый темперамент. Это русское барское свойство. Мальчиком мне доводилось бить стулом по голове. С этим связана и другая черта – некоторое самодурство. При всех добрых качествах моего отца, я в его характере замечал самодурство. Этот недостаток барски-русский есть и у меня. Я иногда замечаю что-то похожее на самодурство даже в моем процессе мысли, в моем познании. Если глубина духа и высшие достижения личности ничего наслед-

ственного в себе не заключают, то в душевных и душевно-телесных свойствах есть много наследственного. Когда я был в ссылке в Вологде, то побил палкой чиновника Губернского правления за то, что тот преследовал на улице знакомую мне барышню. Побив его, я ему сказал: «Завтра вы будете уволены в отставку». Очевидно, кровь предков мне бросилась в голову.

Мне приходилось испытывать настоящий экстаз гнева. Вспоминая свое прошлое, я думаю, что мог часто безнаказанно проявлять такую гневливость и вспыльчивость потому, что находился в привилегированном положении. Мы жили еще в патриархальных нравах. Мой отец, который во вторую половину жизни имел взгляды очень либеральные, не представлял жизни иначе, чем в патриархальном обществе, где родственные связи играют определенную роль. Когда меня арестовали и делали обыск, то жандармы ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить отца. Жандармы и полиция знали, что отец на «ты» с губернатором, друг генерал-губернатора, имеет связи в Петербурге. Будучи социал-демократом и занимаясь революционной деятельностью, я, в сущности, никогда не вышел окончательно из положения человека, принадлежащего к привилегированному, аристократическому миру. И это и после того, как я сознательно порвал с этим миром. Так создавалось некоторое неравенство с моими товарищами, которые всегда меня чувствовали баринном.

Из людей, окружавших меня в детстве, особенно запечатлелся мне образ моей няни Анны Ивановны Катаменковой. Русская няня была поразительным явлением старой России. Можно поражаться, как она могла вырасти на почве крепостного права. Моя няня была крепостной моего деда. Она была няня двух поколений Бердяевых, моего отца и моей. Отец относился к ней с огромной любовью и уважением. Она представляла собой классический тип русской няни. Горячая православная вера, необыкновенная доброта и заботливость, чувство достоинства, возвышавшее ее над положением прислуги и превращавшее ее в члена семьи. Няни в России были совсем особым социальным слоем, выходящим из сложившихся социальных классов. Для многих русских бар няня была единственной близкой связью с народом. Моя няня умерла в глубокой старости, когда мне было около четырнадцати лет. Первое мое впечатление связано с ней.

Помню, что я с няней иду по аллее сада в родовом имении моего отца, Обухове, на берегу Днепра. Мне было, вероятно, года три или четыре. До этого ничего не могу припомнить. После этого тоже некоторое время ничего не припоминаю. Следующее воспоминание уже связано с нашим домом в Киеве. Родовое имение моего отца было продано, когда я был еще ребенком, и был куплен в Киеве дом с садом. Отец мой всегда имел тенденцию к разорению. Всю жизнь он не мог утешиться, что имение продано, и тосковал по нем. У него было тяготение к деревне. Мать же больше любила город. На этой почве были споры. Я всегда мечтал о деревне и надеялся, что отец купит новое имение, хотя бы более скромное. В воображении часто представлял себе, какой будет усадьба, непременно около леса, столь мною любимого. Но этого не случилось. У моего отца оставалось еще майоратное имение в Польше, пожалованное моему деду за заслуги. В этом майоратном имении, находившемся на самой границе Германии, мы никогда не жили. Оно было в аренде. Я всего раз в жизни, еще юношей, был там проездом из Германии. Никакой связи с этой собственностью не было. Как майорат, это имение нельзя было ни продать, ни заложить, и это спасло от полного разорения. У меня было всегда странное отношение к собственности.

Я не только не считал собственность священной, но и никогда не мог освободиться от чувства греховности собственности. Сильное чувство собственности у меня было только на предметы потребления, особенно на книги, на мой письменный стол, на одежду. Деньги, необходимые для жизни, мне казались дарованными Богом, чтобы я мог отдаться единственно творчеству. При этом у меня была некоторая расчетливость при крайней непрактичности. Если не считать моего детства и юности, то большую часть жизни я испытывал материаль-

ную стесненность, а иногда и критическое положение. Мальчиком я обыкновенно проводил лето в великолепном имении моей тети, Ю. Н. Гудим-Левкович. С семьей Гудим-Левковичей, которая представляла один из центров киевского светского общества, мы были очень связаны. Наша семья была невеселая. В доме Гудим-Левковичей бывало много молодежи, веселились. С кузинами я был дружен, особенно с Наташей, с которой у меня сохранились отношения и в Париже, до ее трагической кончины. Это была семья благополучная. В нашей же семье я всегда чувствовал неблагополучие, неприспособленность к жизни, надлом, слишком большую чувствительность. Она уже вышла из крепкого, оформленного быта и менее всего приспособилась к новому буржуазному быту. У отца моего происходил перелом мирозерцания, он все более проникался либеральными взглядами, порывал с традициями и часто вступал в конфликт с окружающим обществом.

Надлом в нашу семью внесли отношения между моими родителями и семьей моего брата, который был на пятнадцать лет старше меня. Семья брата имела огромное значение в моей жизни и моей душевной формации. Брат был человек очень одаренный, хотя совсем в другом направлении, чем я, очень добрый, но нервно больной, бесхарактерный и очень несчастный, не сумевший реализовать своих дарований в жизни. У нас образовалась атмосфера, родственная Достоевскому.

Мой брат был человек нервно больной в тяжелой форме. Многие находили, что у него были ненормальности. С этим связаны у меня травмы, сохранившиеся в моем подсознательном. Мне часто в семье приходилось играть роль посредника. Семья брата была для меня первым выходом из аристократической среды и переходом в другой мир. Брат был человеком, готовым отдать последнее. Деньги не могли у него удержаться и одного дня. И он всегда был в затруднительном положении. У него было очень красивое, почти греческое лицо. Но он периодически опускался, не брился, не мылся, одевался так, что производил впечатление оборванца. Потом вдруг появлялся очень элегантным. У него были способности, которых не было у меня, была изумительная память, дар к математике и языкам. Он писал стихи даже по-немецки, но не было никакой склонности к философии. В семье брата я рано столкнулся с явлениями оккультизма, к которым был в решительной оппозиции. Мой брат иногда впадал в транс, начинал говорить рифмованно, нередко на непонятном языке, делался медиумом, через которого происходило сообщение с миром индусских махатм. Однажды через брата, находившегося в состоянии транса, махатма сказал обо мне: «Он будет знаменит в Европе вашей старой». Эта атмосфера действовала на меня отрицательно, и я боролся против нее. Но атмосфера была напряженной, были напряженные духовные интересы.

Я мало подвергаюсь внушению, но в детстве мне была внушена мысль, что жизнь есть болезнь. Лучший профессор медицины приезжал осматривать всех членов нашей семьи. У моей матери в течение 40 лет была тяжелая болезнь печени. По ночам были припадки печени с прохождением камней, и я слышал ее крики. Каждый раз думали, что она может умереть. Это очень тяжело на меня действовало. Отец постоянно лечился. Меня самого постоянно лечили. Совсем маленьким я год пролежал в кровати, у меня была ревматическая горячка. Семья наша была необыкновенно нервной. У меня была нервная наследственность, выражающаяся в моих нервных движениях. Это, вероятно, связано с судорожностью моей натуры, мои душевные движения также судорожны. Особенная нервность была со стороны отца. Мать часто говорила, что Бердяевы не совсем нормальны, Кудашевы же нормальны.

В моей семье совершенно отсутствовала авторитарность. Я в ней не чувствовал инерции традиционного быта. В ней было что-то заколебавшееся. Она принадлежала к толстовскому кругу, но было что-то от Достоевского. Уже в моем отце, во вторую половину жизни, было что-то переходное от наших предков ко мне. Меня никогда не стесняли и не насиловали. Я не помню, чтобы меня когда-либо наказывали. Вероятно, из гордости я себя держал так, чтобы не было и поводов для наказания. В детстве я никогда не капризничал и не плакал,

мне были мало свойственны и детские шалости. Единственное, что мне было свойственно, это припадки вспыльчивости. Отца всегда пугало, когда я делался белым как полотно от припадка вспыльчивости. Мне свойственна изначальная свобода. Я эмансипатор по истокам и пафосу. Во мне образовался собственный внутренний мир, который я противопоставлял миру внешнему. Это выразалось и в том, что я любил устраивать свою комнату и выделять ее из всей квартиры, не выносил никаких посягательств на мои вещи. С детства собирал собственную библиотеку. Думаю, что мне всегда был свойствен эгоизм, эгоизм главным образом защитительный. Но я не был эгоцентриком, то есть не был исключительно поглощен собой и не относил всего к себе. Я всегда был педантически аккуратен, любил порядок в распределении дня, не выносил ни малейшего нарушения порядка на моем письменном столе. Это обратная сторона моего прирожденного анархизма, моего отвращения к государству и власти.

Помню один важный разговор, который имел со мной отец. Во время разговора отец заплакал. Разговор этот имел для меня большое значение, после него многое во мне изменилось, и я благодарно об этом вспоминаю. Отец меня очень любил, и эта любовь со временем выростала. С матерью отношения были более легкими. В ней всегда чувствовалось что-то французское, и в ней было больше светскости, чем в отце. Вместе с тем в ней было много доброты. Я не любил светское аристократическое общество, и с известного момента это превратилось в глубокое отталкивание и жажду полного разрыва. Я никогда не любил элиты, претендующей на аристократизм. Мой собственный аристократизм сказывался в отталкивающем чувстве, которое мне внушали *raçvenus* и *арривисты*, люди, проталкивающиеся из низов к верхним слоям, нелюбви к подбору, который я считаю не аристократическим принципом. Аристократизм определяется по происхождению, а не по достижению.

В детстве у меня наверное были аристократические предрассудки. Но в бурной реакции, или, вернее, революции, я победил их; В аристократическом обществе я не видел настоящего аристократизма и видел чванство, презрение к низшим, замкнутость. В России не было настоящих аристократических традиций. У меня была, конечно, «господская» психология, предки мои принадлежали к «господам», к правящему слою. Но у меня это соединялось с нелюбовью к господству и власти, с революционным требованием справедливости и сострадательности. Я принадлежу к «кающимся дворянам», хотя одно время усиленно боролся против такой душевной формации. Отец мой потом смеялся над моим социализмом и говорил, что я барин-сибарит более, чем он. В сущности, я стремился не к равенству и не к преобладанию и господству, а к созданию своего особого мира.

Учеба

«Я прошел через жизнь с полузакрытыми глазами и носом вследствие отворачивания».

Бердяев Н.А. «Самопознание. Опыт философской автобиографии»

Я воспитывался в военном учебном заведении, в Киевском кадетском корпусе. Но жил дома и был приходящим, что представляло собой исключение. Чтобы поступить в университет, я должен был держать экзамен на аттестат зрелости экстерном. Я не любил корпуса, не любил военщины, все мне было не мило. Когда я поступил во второй класс кадетского корпуса и попал во время перемены между уроками в толпу товарищей кадетов, я почувствовал себя совершенно несчастным и потерянным. Я никогда не любил общества мальчиков-сверстников и избегал возвращаться в их общество. Лучшие отношения у меня были только с девочками и барышнями. Общество мальчиков мне всегда казалось очень грубым, разговоры низменными и глупыми. Я и сейчас думаю, что нет ничего отвратительнее разговоров мальчиков в их среде. Это источник порчи. Кадеты же мне показались особенно грубыми, неразвитыми, пошлыми. К тому же товарищи иногда насмехались над моими нервными движениями хореического характера, присущими мне с детства. У меня совсем не выработалось товарищеских чувств, и это имело последствие для всей моей жизни.

Единственным товарищем моего детства был моряк Н. М., которому мой отец помог окончить образование. Я был очень к нему привязан, и отношения сохранились на всю жизнь. Он стал как бы членом нашей семьи. Впоследствии он стал очень храбрым моряком, совершал экспедиций. Он был вместе со мной в ссылке в Вологде. Но в коллективной атмосфере военного учебного заведения я был резким индивидуалистом, очень отъединенным от других. На меня смотрели как на аристократическое дитя, пажа, будущего гвардейца. Преобладали же армейцы. Но мое расхождение с кадетами и со всей кадетской атмосферой имело более глубокие причины. Во мне необычно рано пробудился интерес к философским проблемам, и я сознал свое философское призвание еще мальчиком.

Учился я всегда посредственно и всегда чувствовал себя мало способным учеником. Одно время у меня был домашний репетитор. Однажды он пришел к отцу и сказал, что ему трудно заниматься с таким неспособным учеником. В это время я уже много читал и рано задумывался над смыслом жизни. Но я никогда не мог решить ни одной математической задачи, не мог выучить четырех строк стихотворения, не мог написать страницы диктовки, не сделав ряд ошибок. Если бы я не знал с детства французский и немецкий языки, то, вероятно, с большим трудом овладел бы ими. Но ввиду знания языков, я имел в этом преимущество перед другими кадетами. Я сносно знал теорию математики и потому мог кое-как обернуться, не умея решать задачи. Я недурно писал сочинения, несмотря на неспособность овладеть орфографией. Лучше других предметов я знал историю и естествознание. Программа кадетских корпусов была близка к программе реальных училищ. Большое значение имела математика, и преподавалась в старшем классе даже аналитическая геометрия и элементы высшей математики. Преподавалось естествознание, ботаника, зоология, минералогия, физика и химия, космография. Поступив в университете на естественный факультет, я лучше других студентов ориентировался в естественных науках. Большое значение имели новые языки. Но греческий и латинский я изучал всего два года, готовясь на аттестат зрелости. Преподавание в киевском корпусе было неплохое, среди преподавателей были даже приват-доценты университета. Директор кадетского корпуса генерал А. был человек хороший и ко мне он относился хорошо. Но я не мог принять никакого учебного заведения, не мог принять и университета.

Психологически я себе объясняю, почему я всегда был неспособным учеником, несмотря на очень раннее мое умственное развитие и на чтение книг, которых в моем возрасте никто не читал. Когда я держал выпускной экзамен по логике, то я уже прочел «Критику чистого разума» Канта и «Логику» Д. С. Милля. Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно было пассивное усвоение и запоминание, когда процесс шел извне ко мне. Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить и запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому экзамен был для меня невыносимой вещью. Я не могу пассивно отвечать. Мне сейчас же хочется развить собственные мысли. По Закону Божьему я однажды получил на экзамене единицу при двенадцатибалльной системе. Это был случай небывалый в истории кадетского корпуса. Я никогда не мог бы конспектировать ни одной книги. И я, вероятно, срезался бы, если бы мне предложили конспектировать мою собственную книгу.

Я очень много читал в течение всей моей жизни и очень разнообразно. Я читаю быстро и легко. С необычайной легкостью ориентируюсь в мире мысли данной книги, сразу же знаю, что к чему относится, в чем смысл книги. Но я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно творчески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. Для меня это очень характерно. Вместе с тем я никогда не мог признать никакого учителя и руководителя занятий. В этом отношении я автодидакт. Во мне не было ничего педагогического. Я понимал жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу. Я сам составлял себе план занятий. Никогда никто не натолкнул меня на занятия философией, это родилось изнутри. Я никогда не мог принадлежать ни к какой школе. Я всю жизнь учился, учусь и сейчас. Но это есть свободное приобщение к мировому знанию, к которому я сам определяю свое отношение. Покупка книг была для меня большим наслаждением. Вспоминаю, как я ходил в большой книжный магазин Оглоблина на Крещатике. Почти каждый день я ходил осматривать новые книги. Любовь к книжным магазинам у меня сохранилась и донныне.

Как я говорил уже, я принадлежу к военной семье со стороны отца и воспитывался в военном учебном заведении. И у меня была антипатия к военным и всему военному, я всю жизнь приходил в плохое настроение, когда на улице встречал военного. Я с уважением относился к военным во время войны, но не любил их во время мира. Будучи кадетом, я с завистью смотрел на студентов, потому что они занимались интеллектуальными вопросами, а не маршировкой. Я около шести лет учился строевой службе. Кадетский корпус был единственным местом, где было физическое воспитание и спорт, конечно, того времени. Гимнастика была обязательным предметом, как и танцы. Отвращение к военщине вызывало во мне нелюбовь к физическим упражнениям. Гимнастика казалась мне скучной, и лишь впоследствии, для гигиены, я делал по утрам гимнастику. Танцы я не любил и танцевал плохо. Балы казались мне необыкновенно скучными.

Две вещи, не связанные с интеллектуальной жизнью, требующие физической умелости, я делал хорошо: я очень хорошо ездил верхом и хорошо стрелял в цель. Ездить верхом я очень любил. Когда мне было около 9 лет, ко мне приезжал казак, он обучал меня верховой езде, мы ездили за город. Я умел ездить по-казачьи и по-кавалерийски. Быстрая езда карьером была для меня наслаждением. В этом я, наверное, превосходил моих товарищей по кадетскому корпусу. Меня огорчало, что потом наступили времена, когда трудно было ездить верхом. Я также хорошо стрелял в цель, почти без промаха. Думая о физическом труде и тренировке тела, я на опыте подтверждаю для себя глубокое убеждение, что человек есть микрокосм, потенциальная величина, что в нем все заложено.

Маленьким мальчиком я очень увлекался ремеслами, я был и столяром, и маляром, и шекатуром. Особенно любил столярное ремесло, даже обучался ему в столярной мастерской и делал какие-то рамки и стулья. И сейчас я с любовью вхожу в столярную мастерскую. Одно время был даже огородником и сажал какие-то овощи. Этим как будто бы исчерпались все мои возможности физического труда, и всю жизнь я был неумелым в этой области.

Я был также художником и даже очень увлекался живописью. У меня были довольно большие способности к рисованию и в кадетском корпусе я был одним из первых по рисованию. Я даже кончил рисовальную школу, три года учился. Начал уже писать масляными красками. Настоящего таланта у меня, наверное, не было, были способности. Но как только я осознал свое философское призвание, а его я осознал очень рано, еще мальчиком, я совершенно бросил живопись. Я начал писать романы философского направления.

Возвращаюсь к своей реакции на кадетский корпус. Когда я наблюдаю современное поколение молодежи, увлеченное милитаризацией и идеалом военного, то это вызывает во мне особенное раздражение, потому что я получил военное воспитание, испытал на себе военную дисциплину, знаю, что такое значит принадлежать к военному коллективу. Пребывание в кадетском корпусе оказало на меня большое влияние в смысле сильной реакции против военной среды и атмосферы. По характеру своему я принадлежу к людям, которые отрицательно реагируют на окружающую среду и склонны протестовать. Это также форма зависимости. Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил. У меня очень слабая способность к приспособлению, для меня невозможен никакой конформизм. Эта неприспособленность к окружающему миру мое основное свойство. Я никому и ничему никогда не мог подчиниться. Это я проверил на опыте всей моей жизни. Еще до кадетского корпуса, совсем маленьким, я надевал белый кавалергардский мундир моего отца, ленты и звезды моего деда. Меня интересовал образ Суворова. Я даже делал план сражения. На этом были совершенно изжиты мои милитаристические наклонности. Некоторая воинственность моего характера целиком перешла в идейную борьбу, в сражения в области мысли. Все военное было для меня нестерпимым, ибо делало человека подчиненной частью коллективного целого, Я даже избегал соблюдать кадетскую форму. Не стриг коротко волос, как полагалось кадетам. Старался избегать встреч с генералами, чтобы не становиться во фронт. Ни с одним товарищем по кадетскому корпусу у меня не возникло никаких отношений. Тут большую роль играла моя скрытность. Затрудняла товарищеские отношения со мной также моя вспыльчивость. Со мной не очень приятно было играть в карты, потому что я мог прийти в настоящее бешенство против моего партнера. Кстати, любовь к карточной игре и притом с азартом я изжил мальчиком и более к этому не возвращался.

Любовь к философии, к познанию смысла жизни вытесняла во мне все. В моей природе есть кавалергардские инстинкты, но они были мной задавлены и вытеснены. Преодоление их усложнило мою натуру. О произошедшем во мне перевороте речь впереди. До переворота у меня было много неприятных черт, от которых я освободился. Я был переведен в пажеский корпус и должен был жить в Петербурге у сановного двоюродного брата моего отца. Вместо этого переезда я осуществил свою мечту, вышел из шестого класса кадетского корпуса и начал готовиться на аттестат зрелости для поступления в университет. Вспоминая прошлое, должен сказать, что единственный быт, с которым у меня была какая-то связь, есть все-таки помещичий, патриархальный быт. Я очень любил русскую деревню и тоскую по ней и сейчас.

С детства я жил в своем особом мире, никогда не сливался с миром окружающим, который мне всегда казался не моим. У меня было острое чувство своей особенности, непохожести на других.

Внешне я не только не старался подчеркнуть свою особенность, но наоборот, всегда старался сделать вид, притвориться, что я такой же, как другие люди. Это чувство особен-

ности не следует смешивать с сомнением. Человек огромного сомнения может себя чувствовать слитым с окружающим миром, быть очень социализированным и иметь уверенность, что в этом мире, совсем ему не чуждом, он может играть большую роль и занимать высокое положение. У меня же было чувство неприспособленности, отсутствие способностей, связанных с ролью в мире. Меня даже всегда удивляло, что впоследствии, при моей неспособности к какому-либо приспособлению и конформизму, я приобрел большую европейскую и даже мировую известность и занял «положение в мире». Я даже стал «почтенным» человеком, что мне кажется совсем не соответствующим моей незаконной и возмущавшейся природе. Вместе с тем это мое коренное чувство не следует смешивать с *complexe d'infériorité* (комплекс неполноценности), которого у меня совсем нет. Я отнюдь не застенчивый человек, и я всегда говорил и действовал уверенно, если это не касалось деловой, «практической» стороны жизни, где я всегда себя чувствовал беспомощным. В обыденной жизни я был скорее робок, неумел, не самоуверен и был мужествен и храбр лишь когда речь шла об идейной борьбе или в минуты серьезной опасности.

Чувство жизни, о котором я говорю, я определяю как чуждость мира, неприятие мировой данности, неслиянность, неукорененность в земле, как любят говорить, болезненное отвращение к обыденности. Часто это называли моим «индивидуализмом», но я считаю это определение неверным. Я не только выхожу из себя к миру мысли, но и к миру социальному. Человек есть сложное и запутанное существо. Мое «я» переживает себя как пересечение двух миров. При этом «сей мир» переживается как не подлинный, не первичный и не окончательный. Есть «мир иной», более реальный и подлинный. Глубина «я» принадлежит ему. В художественном творчестве Л. Толстого постоянно противопоставляется мир лживый, условный и мир подлинный, божественная природа (князь Андрей в петербургском салоне и князь Андрей, смотрящий на поле сражения на звездное небо). С этой темой связана для меня роль воображения и мечты.

Действительности противостоит мечта, и мечта в каком-то смысле реальнее действительности. Это могут определить как романтизм, но тоже неточно. У меня всегда было очень реалистическое, трезвое чувство действительности, была даже очень малая способность к идеализации и к иллюзиям. Но что казалось мне всегда очень мучительным и дурным, так это моя страшная брезгливость к жизни. Я прежде всего человек брезгливый, и брезгливость моя и физическая, и душевная. Я старался это преодолеть, но мало успевал. У меня совсем нет презрения, я почти никого и ничего не презираю. Но брезгливость ужасная. Она меня всю жизнь мучила, например, в отношении к еде. Брезгливость вызывает во мне физиологическая сторона жизни.

Я прошел через жизнь с полузакрытыми глазами и носом вследствие отвращения.

Я исключительно чувствителен к миру запахов. Поэтому у меня страсть к духам. Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов. Это связано с тем, что я с болезненной остротой воспринимаю дурной запах мира. У меня есть брезгливость и к самому себе. Думаю, что брезгливость связана у меня со структурой моего духа. Душевная брезгливость у меня не меньшая. Дурной нравственный запах мучит меня не меньше, чем дурной физический запах. Брезгливость вызывают интриги жизни, закулисная сторона политики. Я не эстет по своему основному отношению к жизни и имею антипатию к эстетам. Моя преобладающая ориентировка в жизни этическая.

По типу своей мысли я моралист. Но у меня всегда был сильный чувственно-пластический эстетизм, я любил красивые лица, красивые вещи, одежду, мебель, дома, сады. Я люблю не только красивое в окружающем мире, но и сам хотел быть красивым. Я страдал от всякого уродства. Прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось закрыть глаза. У меня была необыкновенная острота зрения, один окулист сказал

мне, что оно вдвое сильнее нормального. Входя в гостиную, я видел всех и все, малейший дефект бросался мне в глаза. Я всегда считал это несчастным свойством. В мире, особенно в человеческом мире, больше уродства, чем красоты. Я замечаю, что у меня отсутствует целый ряд дурных страстей и аффектов, вероятно, потому, что я не приобщаюсь до глубины к борьбе и соревнованию, которые происходят в мировой жизни. Я совершенно неспособен испытывать чувства ревности, мне не свойствен аффект зависти, и нет ничего более чуждого мне, чем мстительность, у меня атрофировано совершенно всякое чувство иерархического положения людей в обществе, воля к могуществу и господству не только мне несвойственна, но и вызывает во мне брезгливое отвращение. Слишком многие страсти, господствующие над жизнью людей, мне чужды и непонятны. Это могут объяснить ущербностью моей природы, безразличием ко многому, прежде всего безразличием к успехам в жизни.

Я боролся с миром не как человек, который хочет и может победить и покорить себе, а как человек, которому мир чужд и от власти которого он хочет освободить себя.

Я всегда чувствовал себя далеким от того, что называют «жизнью». Я, в сущности, не любил так называемой «жизни», в молодости еще меньше, чем теперь. Впрочем, не точно было бы сказать, что я не люблю жизни. Вернее было бы сказать, что я люблю не жизнь, а экстаз жизни, когда она выходит за свои пределы. И тут я вижу в себе страшное противоречие. Я не был человеком с пониженным жизненным инстинктом, у меня был сильный жизненный инстинкт, была напряженность жизненной силы, иногда переливающей через край. Думаю, что моя нелюбовь к так называемой «жизни» имеет не физиологические, а духовные причины, даже не душевные, а именно духовные. У меня был довольно сильный организм, но было отталкивание от физиологических функций организма, брезгливость ко всему, связанному с плотью мира, с материей. Я люблю лишь формы плоти. Я никогда не любил рассказов об эмоциональной жизни людей, связанных с ролью любви; для меня всегда было в этом что-то неприятное, мне всегда казалось, что это меня не касается, у меня не было интереса к этому, даже когда речь шла о близких людях.

Еще большее отталкивание вызывало во мне все связанное с человеческим самолюбием и честолюбием, с борьбой за преобладание. Я старался не слушать, когда говорили о конкуренции между людьми.

Я чувствовал облегчение, когда речь переходила в сферу идей и мысли. Но половая любовь и борьба за преобладание и могущество наполняют то, что называют «жизнью». Мне часто казалось, что я, в сущности, в «жизни» не участвую, слышу о ней издали и лишь оцарапан ею. И при этом я ко многому в жизни имел отношение и на меня рассчитывали в борьбе, происходившей в жизни. По-настоящему жил я в другом плане. Мне как бы естественно присуще эсхатологическое чувство. Я не любил «жизни» прежде и больше «смысла», я «смысл» любил больше жизни, «дух» любил больше мира. Было бы сомнением и ложью сказать, что я стоял выше соблазнов «жизни», я, наверное, был им подвержен, как и все люди, но духовно не любил их. Для меня не ставилась проблема «плоти» как, например, у Мережковского и других, для меня ставилась проблема свободы. Я не мог мыслить так, что «плоть» греховна или «плоть» свята, я мог мыслить лишь о том, есть ли «плоть» отрицание свободы и насилия или нет. Моя изначальная, ранняя любовь к философии и к философии метафизической связана с моим отталкиванием от «жизни» как насилующей и уродливой обыденности.

Мне доставляло мало удовлетворения переживание самой жизни, за исключением творчества, больше наслаждения я испытывал от воспоминания о жизни или мечты о жизни. И самым большим моим грехом, вероятно, было то, что я не хотел просветленно нести тяготу этой обыденности, то есть «мира», и не достиг в этом мудрости. Но философия моя была, как теперь говорят, экзистенциальна, она выражала борения моего духа, она была близка к жизни, жизни без кавычек. Еще об отношении к тому, что называют «жизнью», и об аскезе.

Физиологические потребности никогда не казались мне безотлагательными, все мне представлялось зависящим от направленности сознания, от установки духа. Близкие даже иногда говорили, что у меня есть аскетические наклонности.

Это неверно, мне, в сущности, чужд аскетизм. Я был с детства избалован, нуждался в комфорте. Но я никогда не мог понять, когда говорили, что очень трудно воздержание и аскеза. Мне это казалось выдумкой, ложным направлением сознания. Когда мне кто-нибудь говорил, что воздержание от мясной пищи дается трудной борьбой, то мне это было мало понятно, потому что у меня всегда было отвращение к мясной пище, и я должен был себя пересиливать, чтобы есть мясо. Никакой заслуги в этом я не вижу. Труднее всего мне было выносить плохой запах. Я никогда не знал усталости, мог спорить целую ночь, мог бегать с необыкновенной быстротой. Сейчас знаю усталость от возраста и болезней. Болел я часто и в прошлом, но у меня находили почти атлетическое сложение.

Мне всегда казалось неверным и выдуманным, что дух должен бороться с плотью (соблазнами плоти). Дух должен бороться с духом же (с соблазнами духа, которые выражаются и в плоти).

Но мой дух бывал ложно направленным. У каждого человека кроме позитива есть и свой негатив. Моим негативом был Ставрогин. Меня часто в молодости называли Ставрогиным, и соблазн был в том, что это мне даже нравилось (например, «аристократ в революции обаятелен», слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, подходящее на маску). Во мне было что-то ставрогинское, но я преодолел это в себе.

Пейзаж души

*«Я боялся единомышленников и последователей как стеснения
моей творческой свободы».*

Бердяев Н.А. «Самопознание. Опыт философской автобиографии»



Очень поверхностно и наивно удивление перед противоречиями человека. Человек есть существо противоречивое. Это глубже в человеке, чем кажущееся отсутствие проти-

воречий. Я усматриваю в себе целый ряд сплетающихся противоречий. Таково, например, сочетание гордости и смирения. Я всегда считал себя существом многопланнным и многоэтажным. Меня всегда удивляли, а иногда и смешили отзывы обо мне. Нет ничего мне более чуждого, чем гордая манера себя держать. Я, наоборот, никогда не хотел иметь вид человека, возвышающегося над людьми, с которыми приходил в соприкосновение. У меня была даже потребность привести себя во внешнее соответствие со средними людьми. Поэтому я часто вел самые незначительные разговоры. Я любил стушевываться. Мне было противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве. Это отчасти объясняется моей крайней скрытностью, охранением своего внутреннего мира и слабой способностью к общению. За этим внешним пластом скрывалась, вероятно, гордость, но гордость, которой я не хотел обнаружить.

Я никогда не хотел гордиться перед людьми. Когда уже под старость меня иногда рассматривали как знаменитость, меня это мало радовало и очень стесняло и почти шокировало. Меня всегда соблазняло инкогнито. Если гордость была в более глубоком пласте, чем мое внешнее отношение к людям, то в еще большей глубине было что-то похожее на смирение, которое я совсем не склонен рассматривать как свою добродетель. Это скорее естественное свойство, чем духовное достижение. У меня вообще мало достижений. Я думаю о себе, что я бунтарь, но человек смиренный.

Анализируя себя, я по совести должен сказать, что принадлежу к мало самолюбивым людям. Я почти никогда не обижался. Иногда пробовал обидеться, но мне это мало удавалось. Состояние ободранного самолюбия мне было мало понятно, и меня очень отталкивало это состояние в людях. Во мне вообще мало подпольности, хотя это совсем не значит, что у меня мало плохого. Думаю, что много плохого. Но я совсем не принадлежу к типу людей, находящихся в постоянном конфликте с собой и рефлектирующих. В своих писаниях я не выражаю обратного тому, что я на самом деле. Я могу себя скрывать, могу прямо выражать свои противоречия, но мне мало свойственна та компенсация, которой такое значение придает современная психопатология.

То, что я мало самолюбив, я объясняю гордостью. Гордостью же можно объяснить, что я, в конце концов, мало честолюбив и славлюбив. Я никогда не искал известности и славы людской, которая так пленяла князя Андрея и самого Л. Толстого. Немалую роль тут играло и равнодушие. Я мало интересовался тем, что обо мне пишут, часто даже не читал статей о себе. Мне даже казалось, что высокая оценка моей мысли меня стесняет и лишает свободы. Я боялся единомышленников и последователей как стеснения моей творческой свободы. Лучше всего я себя чувствовал при конфликте, тогда мысль моя достигала наибольшей остроты. Свобода духа мне казалась связанной с incognito. Когда в каком-нибудь собрании меня считали очень почтенным и известным, то я хотел провалиться сквозь землю. Это не есть настоящее смирение. Тут слишком много от гордости, равнодушия, изолированности, чуждости всему, жизни в мечте.

Есть еще одно противоречие, которое я остро в себе сознавал. Я всегда был человеком чрезвычайной чувствительности, я на все вибрировал. Всякое страдание, даже внешне мне мало заметное, даже людей совсем мне не близких, я переживал болезненно. Я замечал малейшие оттенки в изменении настроений. И вместе с тем эта гиперчувствительность соединялась во мне с коренной суховатостью моей природы. Моя чувствительность сухая. Многие замечали эту мою душевную сухость. Во мне мало влаги.

Пейзаж моей души иногда представляется мне безводной пустыней с голыми скалами, иногда же дремучим лесом. Я всегда очень любил сады, любил зелень. Но во мне самом нет сада.

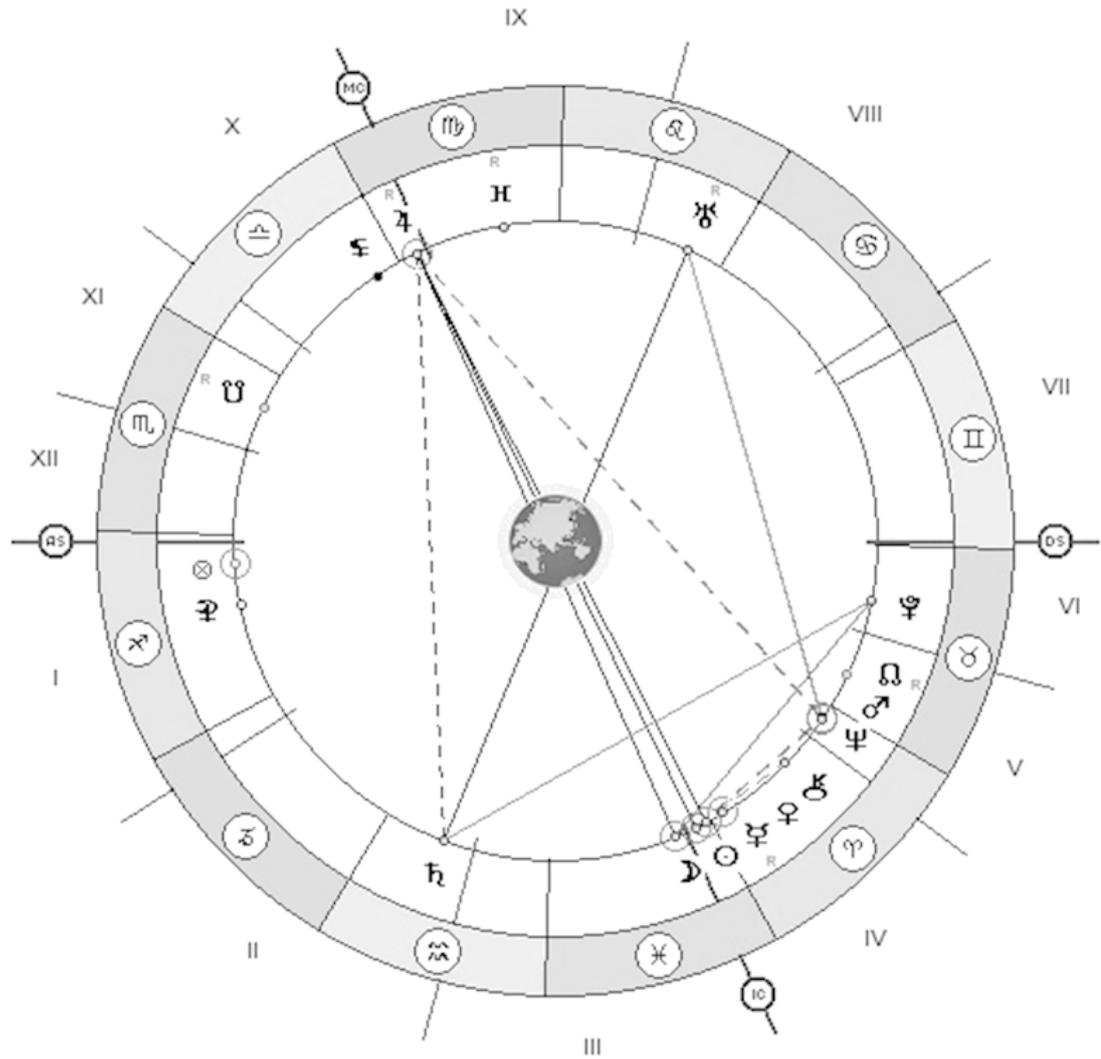
Высшие подъемы моей жизни связаны с сухим огнем. Стихия огня мне наиболее близка. Более чужды стихия воды и земли. Это делало мою жизнь мало уютной, мало радостной. Но я люблю уют.

Огонь и лед **Комментарий**

По гороскопу дня рождения Николай Александрович (6 [18] марта 1874, имение Обухово, Киевская губерния) принадлежит к мистическому и прихотливому знаку Рыб. Именно Солнце в Рыбах определило его мягкость, впечатлительность, восприимчивость и мечтательность. Его склонность к мистицизму, художественному творчеству и эмоциональность, сильно развитое воображение и богатую внутреннюю жизнь. Хотя внешне он производил впечатление скромного и тихого человека. Бердяев терпим, умеет прощать, сочувствует всякому живому существу и переживает чужую боль, как свою собственную.

Но взгляните: в напряженных аспектах с Юпитером в Деве (а там он очень ограничен – отсюда неприятие славы и почестей) стоит целый стеллиум¹¹ планет именно в Овне, который и есть та самая стихия огня, об ощущении которой в себе пишет Николай Александрович. Кроме того сухость и аскетизм натуры продиктованы Сатурном и его кармическим аспектом с Плутоном во Льве, что означает поглощенность своим здоровьем, самосовершенствованием и саморазвитием. Стремление подвергать бесконечному психоанализу себя и других.

¹¹ Стеллиум означает скопление планет в одном знаке Зодиака.



Когда читаешь «Самопознание» Бердяева – поражаешься глубине его анализа собственной личности, а главное – нелицеприятности и точности формулировок. Гороскоп я составила сразу, как прочла про стихию огня – полагаю, что и сам Николай Александрович знал свою натальную карту.

Я упреждал события во времени

Дух был у меня сильнее души.

Продолжим прерванное гороскопом чтение цитат из книги «Самопознание»: «Я не принадлежал к так называемым „душевному“ людям. Во мне слабо выражена, задавлена лирическая стихия. Я всегда был очень восприимчив к трагическому в жизни. Это связано с чувствительностью к страданию. Я человек драматической стихии. Более духовный, чем душевный человек. С этим связана сухость.

Я всегда чувствовал негармоничность в отношениях моего духа и душевных оболочек. Дух был у меня сильнее души.

В эмоциональной жизни души была дисгармония, часто слабость. Дух был здоров, душа же больная. Самая сухость души была болезнью. Я не замечал в себе никакого расстройств мысли и раздвоения воли, но замечал расстройство эмоциональное. Как будто бы оболочки души не были в порядке. Было несоответствие между силой духа и сравнительной слабостью душевных оболочек. Независимость духа я всегда умел отстаивать. Но ничего более мучительного для меня не было, чем мои эмоциональные отношения с людьми. Расстройство эмоциональной жизни выражалось уже в мой гневливости. У меня были не только внешние припадки гнева, но я иногда горел от гнева, оставаясь один в комнате и в воображении представляя себе врага. Я говорил уже, что не любил военных, меня отталкивало все, связанное с войной. У меня было отвращение к насилию. Но характер у меня воинственный, и инстинктивно я склонен действовать силой оружия. В прошлом я даже всегда носил револьвер.

Я чувствую сходство с Л. Толстым, отвращение к насилию, пассивизм и склонность действовать насилием, воинственность. Мне легко было выражать свою эмоциональную жизнь лишь в отношении к животным, на них изливал я весь запас своей нежности. Моя исключительная любовь к животным может быть с этим связана. Эта любовь человека, который имеет потребность любви, но с трудом может ее выражать в отношении к людям. Это обратная сторона одиночества. У меня есть страстная любовь к собакам, к котам, к птицам, к лошадям, ослам, козлам, слонам. Более всего, конечно, к собакам и кошкам, с которыми у меня была интимная близость. Я бы хотел в вечной жизни быть с животными, особенно с любимыми. У нас было две собаки, сначала Лилин мопс Томка, потом скай-терьер Шулька, к которым я был очень привязан. Я почти никогда не плачу, но плакал, когда скончался Томка, уже глубоким стариком, и когда расставался с Шулькой при моей высылке из советской России. Но, может быть, более всего я был привязан к моему коту Мури, красавцу, очень умному, настоящему шармёру. У меня была страшная тоска, когда он был болен. Любовь к животным характерна для семьи моих родителей и для нынешней нашей семьи.

Я говорил уже, что во мне сочетались мечтательность и реализм. Тут, может быть, и нет противоречия, потому что мечта относится к одному, реализм же к совсем другому. Идеализация действительности, иллюзии, склонность очаровываться, а потом разочаровываться противны моей натуре. То, что называют романтическим отношением к действительности, мне совершенно чуждо. Если меня и можно было бы назвать романтиком, помня об условности этого термина, то совсем в особом смысле. Я мало разочаровывался, потому что мало очаровывался. Я не любил возвышенного вранья, возвышенно-нереального восприятия действительности. Верно было бы сказать, что у меня есть напряженная устремленность к трансцендентному, к переходу за грани этого мира. Обратной стороной этой направленности моего существа является сознание неподлинности, неокончателности, падшести этого эмпирического мира. И это во мне глубже всех теорий, всех философских направлений. Я

не делаю себе никаких иллюзий о действительности, но считаю действительность в значительной степени иллюзорной. Мне этот мир не только чужд, но и представляется не настоящим, в нем объективируется моя слабость и ложное направление моего сознания. С этим вопросом связан изначальный во мне элемент. Мне не импонирует массивность истории, массивность материального мира. „Священное“ в истории, иерархические чины в обществе меня лишь отталкивают.

Но вот что еще важнее. Я никогда не мог примириться ни с чем преходящим, временным, тленным, существующим лишь на короткий миг. Я никогда не мог ловить счастливых мгновений жизни и не мог их испытать. Я не мог примириться с тем, что это мгновение быстро сменяется другим мгновением. С необычайной остротой и силой я пережил страшную болезнь времени. Расставание мне было мучительно, как умирание, расставание не только с людьми, но и с вещами и местами. Я, очевидно, принадлежу к религиозному типу, который определяется жаждой вечности. „Я люблю тебя, о, вечность“, – говорит Заратустра. И я всю жизнь это говорил себе. Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви. Если нет вечности, то ничего нет. Мгновение полноценно, лишь если оно приобщено к вечности, если оно есть выход из времени, если оно, по выражению Кирхегардта, атом вечности, а не времени.

Моя болезнь заключалась в том, что я упреждал события во времени. Я с необычайной остротой переживал события, которые во времени еще не произошли, особенно события тяжелые.

Это, конечно, не евангельская и не мудрая настроенность. Мне хотелось, чтобы времени больше не было, не было будущего, а была лишь вечность. И вместе с тем я человек, устремленный к будущему. Проблему времени я считаю основной проблемой философии, особенно философии экзистенциальной. Странно, что этот мир не казался мне беспредельным, бесконечным, наоборот, он мне казался ограниченным по сравнению с беспредельностью и бесконечностью, раскрывавшейся во мне. Мир, раскрывавшийся во мне, более настоящий мир, чем мир экстериоризированный. Меня часто упрекали в том, что я не люблю достижения, реализации, не люблю успеха и победы, и называли это ложным романтизмом. Это требует объяснения. У меня действительно есть несимпатия к победителям и успевающим. Мне это представляется приспособлением к миру, лежащему во зле. Я действительно не верю, чтобы в этом мировом плане, в мире объективированном и отчужденном возможна была совершенная реализация. Жизнь в этом мире поражена глубоким трагизмом. Это причина моей нелюбви к классицизму, который создает иллюзию совершенства в конечном. Совершенство достижимо лишь в бесконечном. Стремление к бесконечному и вечному не должно быть пресечено иллюзией конечного совершенства. Всякое достижение формы лишь относительно, форма не может претендовать на окончательность.

Всякая реализация здесь есть лишь символ иного, устремленности к вечности и бесконечности. В этом источник духовной революционности моей мысли. Но это революционность трансцендентного, а не имманентного. В противоположность господствующей точке зрения я думаю, что дух революционен, материя же консервативна и реакционна. Но в обыкновенных революциях мир духа ущемлен материей, и она искажает его достижения. Дух хочет вечности. Материя же знает лишь временное. Настоящее достижение есть достижение вечности.

Вспоминая себя мальчиком и юношей, я убеждаюсь, какое огромное значение для меня имели Достоевский и Л. Толстой. Я всегда чувствовал себя очень связанным с героями романов Достоевского и Л. Толстого, с Иваном Карамазовым, Версиловым, Ставрогиним, князем Андреем и дальше с тем типом, который Достоевский назвал „скитальцем земли русской“, с Чацким, Евгением Онегиным, Печориным и другими. В этом, быть может, была моя самая глубокая связь с Россией, с русской судьбой. Также чувствовал я себя связанным с реаль-

ными людьми русской земли: с Чаадаевым, с некоторыми славянофилами, с Герценом, даже с Бакуниным и русскими нигилистами, с самим Л. Толстым, с Вл. Соловьевым. Как и многие из этих людей, я вышел из дворянской среды и порвал с ней.

Разрыв с окружающей средой, выход из мира аристократического в мир революционный – основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней. Это входит в мою борьбу за право свободной и творческой мысли для себя. Я боролся за это с яростью и разрывал со всем, что мне мешало осуществлять мою задачу. Сознание своего призвания было во мне очень сильным. У меня было достаточно силы воли для осуществления своей задачи, и я мог быть свиреп в борьбе за ее осуществление. Но я не был человеком выдержанного стиля, я сохранил неопределенные противоречия, я не мог задержаться до конца на чем-либо ином. Я больше всего любил философию, но не отдался исключительно философии; я не любил „жизни“ и много сил отдал „жизни“, больше других философов; я не любил социальной стороны жизни и всегда в нее вмешивался; я имел аскетические вкусы и не шел аскетическим путем; был исключительно жалостлив и мало делал, чтобы ее реализовать.

Я всегда чувствовал действие иррациональных сил в своей жизни.

Я никогда не действовал по рассуждению, в моих действиях всегда было слишком много импульсивного. Я сознавал в себе большую силу духа, большую независимость и свободу от окружающего мира и в обыденной жизни часто бывал раздавлен беспорядочным напором ощущений и эмоций. Я был бойцом по темпераменту, но свою борьбу не доводил до конца, борьба сменялась жаждой философского созерцания. Я часто думал, что не реализовал всех своих возможностей и не был до конца последователен, потому что во мне было непреодолимое барство, барство метафизическое, как однажды было обо мне сказано.

Если бы я был демократического происхождения, вероятно, был бы менее сложен и во мне не было бы некоторых черт, которые я ценю, но я больше сделал бы и дела мои были бы более сосредоточенными и последовательными.

Если во мне был эгоизм, то это был скорее эгоизм умственного творчества, чем эгоизм наслаждений жизни, к которым я никогда не стремился. Я никогда не искал счастья. Во имя своего творчества я мог быть жестоким. В умственном творчестве есть этот элемент. Intellectual, мыслитель, в известном смысле урод. Во мне всегда происходила борьба между охранением своего творчества и жалостью к людям. Нужно отличать „я“ с его эгоистичностью от личности. „Я“ есть первичная данность, и оно может сделаться ненавистным, как говорил Паскаль. „Личность“ же есть качественное достижение. В моем „я“ есть многое не от меня. В этом сложность и запутанность моей судьбы».

Образ Божий ***Комментарий***



Пассаж про подвеску со спессартином в начале книги – это лишь несколько комичный пример применения идей Бердяева в нынешней реальности. А вот фильм «Мистер Робот»¹², – это уже совершенно иное.

В самой сумасшедшей серии (6-я, сезон 2) мультяшный персонаж Алеф говорит: «Звоните в газеты! Демократия мертва!» Главный герой этого фильма мучительно неприемлем никем и самим собой – тоже. Но он так похож на Николая Александровича безусловной добротой, абсолютной внутренней свободой и хрустальной откровенностью с самим собой...

К подобной мистике при написании книг о великих влиятельных личностях прошлого я привыкла: они, словно говорят со мной примерами из современной жизни, подтверждающими их полную правоту. Я не слышу голоса Николая Александровича (и вообще никаких потусторонних голосов я не слышу), но если бы он заговорил со мной, то, думаю, что он сказал бы: «Я же вас предупреждал!»

«Ошибка гуманизма была совсем не в том, что он слишком утверждал человека, что он толкал на путь человекобожества, как часто утверждалось в русской религиозной мысли, а в том, что он недостаточно, не до конца утверждал человека, что он не мог гарантировать независимость человека от мира и заключал в себе опасность порабощения человека обществу и природе.

Никакой человек не может быть воплощением и персонификацией зла, зло в нем всегда частично. Поэтому ни о ком не может быть окончательного суда. Это ставит границы и самому принципу наказания.

Человек может совершить преступление, но человек, как целостная личность, не может быть преступником, с ним нельзя обращаться как с воплощением преступления, он остается личностью, в нем есть образ Божий.

И личность, совершившая преступление, не принадлежит целиком и окончательно государству и обществу. Личность есть гражданин царства Божьего, а не царства кесаря, и суждения и осуждения царства кесаря по отношению к ней частичны и не окончательны. Поэтому персонализм решительно и радикально против смертной казни. Личность в человеке не может быть социализирована».

Европа и Америка в своих устремлениях (искренних или нет?) к гуманизму (почти по-Бердяевски) породили таких, как Декстер¹³ – самопровозглашенных судий и палачей для тех, кого мягкотелый гуманный закон не смог наказать. Дилемму Достоевского «тварь ли я дрожащая или право имею» – они решают так же как Раскольников и приходят к тому же результату...

Один из главных героев сериала «Мистер Робот» говорит об идеальном «правителе» – роботе. Неком «Боге из машины»¹⁴, которому нужно поручить управлять людьми, потому что

¹² «Mr. Robot» – американский психологический телесериал, созданный Сэмом Эсмейлом. Пилотная серия была показана 27 мая 2015 на USA Network. Сериал стал лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «лучший телевизионный сериал – драма». В 2016 году сериал получил 6 номинаций «Эмми», включая победу Рами Малек в номинации «лучшая мужская роль в драматическом телесериале». Сценарий Сэма Эсмейла, продюсеры Игорь Срубщик и Сэм Эсмейл.

¹³ «Декстер», «Правосудие Декстера» – американский телесериал канала Showtime, основанный на романе Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера» События сериала рассказывают о Декстере Моргане (Майкл Холл), вымышленном серийном убийце, работающим судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. Сериал неоднократно номинировался на различные премии, такие как «Эмми», IGN, Satellite Award и «Сатурн». Также сериал подвергался критике со стороны родительских организаций, как излишне жестокий и аморальный.

¹⁴ «Бог из машины». Выражение «Deus ex machina» пришло к нам из древнегреческих театров. По древнегреческим

он не подвержен никаким нашим порокам. Есть множество утопий на эту и похожие темы, но... Пока что все они совпадают с тем, что критиковал Бердяев, видя их магию порабощения: «Господство и порабощение изначально связаны с магией, которая не знает свободы. Первобытная магия была волей к могуществу. Господин есть лишь образ раба, вводящего мир в заблуждение. Прометей – свободный и освобождающий, диктатор же – раб и порабощающий. Воля к могуществу есть всегда рабья воля. Христос – свободный, самый свободный из сынов человеческих, Он свободен от мира, Он связывает лишь любовью. Христос говорил как власть имеющий, но он не имел воли к власти и не был господином».

мифам, боги горы Олимп (главным из которых был Зевс) часто помогали героям. Чтобы показать это в театре, древние греки устроили некий кран, который позволял поднимать актёра над сценой (позволял ему «летать») и нужный по сюжету «Бог» спускался сверху, чтобы помочь героям в войне, любви или правлении. Это сооружение и называлось машиной.

Богочеловек

... человек несет в себе образ Бога и через это делается человеком.

«Образ человеческой личности есть не только образ человеческий, но и образ Божий. В этом скрыты все загадки и тайны человека. Это есть тайна богочеловечности, которая есть парадокс, рационально невыразимый. Личность тогда только есть личность человеческая, когда она есть личность богочеловеческая.

Свобода и независимость человеческой личности от объектного мира и есть её богочеловечность. Это значит, что личность формируется не объектным миром, а субъективностью, в которой скрыта сила образа Божия. Человеческая личность есть существо теоандрическое¹⁵. Теологи будут возражать с испугом, что только Иисус Христос был Богочеловеком, человек же есть тварное существо и не может быть богочеловеком. Но эта аргументация остается в пределах теологического рационализма. Пусть человек не есть богочеловек в том смысле, в котором Христос – Богочеловек, Единственный. Но в человеке есть божественный элемент, в нем есть как бы две природы, в нем есть пересечение двух миров, он несет в себе образ, который есть и образ человеческий и образ Божий и есть образ человеческий в меру того, как осуществляется образ Божий.

Эта истина о человеке находится по ту сторону догматических формул и ими не покрывается вполне. Эта истина экзистенциального духовного опыта, который может быть выражен лишь в символах, а не в понятиях. Что человек несет в себе образ Бога и через это делается человеком, – это есть символ, понятия об этом нельзя выработать, богочеловечность есть противоречие для мысли, которая склоняется к монизму или дуализму. До понимания парадоксальной истины о богочеловечестве никогда не поднималась гуманистическая философия. Философия же теологическая старалась рационализировать эту истину. Все теологические доктрины о благодати означали лишь формулировки истины о богочеловечности человека, о внутреннем действии божественного на человеческое. Но совершенно невозможно понять эту тайну богочеловечности в свете философии тождества, монизма, имманентизма. Выражение этой тайны предполагает дуалистический момент, опыт трансцендирования, переживание пропасти и преодоление пропасти. Божественное трансцендентно человеку, и божественное таинственно соединено с человеческим в богочеловеческом образе. Только потому возможно в мире явление личности, не рабствующей миру.

Личность человекна, и она превышает человеческое, зависящее от мира. Человек есть многосоставное существо, он несет в себе образ мира, но он не только образ мира, он также образ Божий.

В нем происходит борьба мира и Бога, он есть существо зависимое и свободное. Образ Божий есть символическое выражение и, превращаясь в понятие, встречает непреодолимые затруднения. Человек есть символ, ибо в нем есть знак иного и он есть знак иного. С этим только и связана возможность освобождения человека от рабства. Это религиозная основа учения о личности, не теологическая, а религиозная основа, т. е. духовно-опытная, экзистенциальная. Истина о богочеловечности есть не догматическая формула, не теологическая доктрина, а истина опытная, выражение духовного опыта.

Та же истина о двойной природе человека, двойной и в то же время целостной, находит себе отражение и в отношении человеческой личности к обществу и к истории, но тут она как бы опрокинута. Личность независима от детерминаций общества, она имеет свой мир,

¹⁵ Теоандрическое – неологизм Бердяева, состоит из двух слов: Тео (гк) θεός – бог и Андр (гк) ανδρ, ανδρής – мужчина, человек, т. е. богочеловеческое.

она есть исключение, она своеобразна и неповторима. И вместе с тем личность социальна, в ней есть наследие коллективного бессознательного, она есть выход человека из изоляции, она исторична, она реализует себя в обществе и в истории. Личность коммюнитарна, предполагает общение с другими и общность с другими. Глубокие противоречия и трудности человеческой жизни связаны с этой коммюнитарностью.

На путях своей реализации человека подстерегает рабство. И человек постоянно должен возвращаться к своему богочеловеческому образу.

Человек подвергается насильственной социализации, в то время как личность человеческая должна быть в свободном общении, в свободной общности, в коммюнитарности, основанной на свободе и любви. И величайшая опасность, которой подвергается человек на путях объективации, есть опасность механизации, опасность автоматизма. Все механическое, автоматическое в человеке – не личное, безличное, противоположное образу личности.

Сталкиваются образ Бога и образ механизма, автомата. Или богочеловечество или автомато-человечество, машино-человечество. Трудность человека коренится в том, что нет соответствия и тождества между внутренним и внешним, нет прямого и адекватного выражения одного в другом.

Это и есть проблема объективации. Этой объективации подвержена и религиозная жизнь человечества. В известном смысле можно сказать, что религия вообще социальна, есть социальная связь. Но этот социальный характер религии искажает дух, подчиняет бесконечное конечному, абсолютизирует относительное, отводит от истоков откровения, от живого духовного опыта. Во внутреннем личность обретает свой образ через образ Божий, через проникновение человеческого божественным, во внешнем осуществление правды означает подчинение мира, общества, истории образу личности, проникновение личностью. Это и есть персонализм. Внутренне личность получает силу и освобождается через богочеловечность, внешне весь мир, все общество и вся история преобразуется и освобождается через человечность, через верховенство личности» Эта цитата из книги «О свободе и рабстве человека, Опыт персоналистической философии».

В моем «я» есть многое не от меня

Мне очень свойственно чувство тленности и эфемерности всех вещей в этом мире.

Завершим биографический раздел цитатами из последней части книги «Самопознание»: За 25 лет моей жизни на Западе я часто обращал свой взор на Россию, и именно взор на Россию из Запада. Это давало острое чувство сопоставления разных миров. Но именно в этом взгляде было для меня что-то мучительное и с трудом объяснимое другим. Я все сильнее и сильнее сознаю, что происходящее во мне с трудом передаваемо другим. Познание жизни, самое глубокое и самое истинное познание, имеет невыразимо эмоциональную природу. Лишь глубоко эмоциональная мысль познает тайну жизни. И эта эмоциональность мысли совсем не есть ее психологическое искажение. (...)

На Западе, в изгнании, которое я особенно остро почувствовал после второй войны 40 года, я перечитывал Герцена и вдумывался в его судьбу на Западе. Я пережил большие катастрофы, чем Герцен. События его времени кажутся маленькими по сравнению с современными. Герцен был разочарован в Западе после революции 48 года, он оттолкнулся от мещанства Запада. Я тоже имею основания быть разочарованным, и еще больше оснований. Я ранен не менее К. Леонтьева уродством демократического века и тоскую по красоте, которой было больше в столь несправедливом прошлом. Но разочарование носит более глубокий характер, и утешение должно быть более глубоким, чем у Герцена. Разочарование связано с судьбами не только Европы, но и всего человечества и всего этого мира. И утешение может быть связано не с верой в русского мужика, как у Герцена, а с благой вестью о наступлении Царства Божьего, с верой в существование иного мира, иного порядка бытия, который должен означать радикальное преобразование этого мира.

Россия и русский народ могут сыграть в этом большую роль в силу нашего эсхатологического характера. Но это дело свободы, а не необходимости.

Герцен ушел из рабства николаевской России в свободу западного мира и не нашел там настоящей свободы. Мы также ушли или были изгнаны из России, в которой воцарилось рабство духа и была истреблена свобода. И некоторую свободу мы на Западе вкусили. Но и это царство очень несовершенной свободы кончается, ее нет уже на Западе, мир все более поработается духом Великого Инквизитора¹⁶. Нельзя примириться с рабством человека и народа. Все это не должно быть страшно лишь для христиан, но для христиан, которые более не хотят опираться на царство кесаря.

* * *

В последние годы произошло небольшое изменение в нашем материальном положении, я получил наследство, хотя и скромное, и стал владельцем павильона с садом в Клараме. В первый раз в жизни, уже в изгнании, я имел собственность и жил в собственном доме, хотя и продолжал нуждаться, всегда не хватало. Я, правда, давно получил по наследству от отца железные рудники в Польше, на земле его, упраздненного польским правительством

¹⁶ «Великий инквизитор» (иногда «Легенда о Великом инквизиторе») – вставная притча, опубликованная в июньском номере 1879 года журнала «Русский вестник» (том СХLI, с. 736–758) в составе пятой главы пятой книги «Рго и сонга» второй части романа Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Притча представляет собой аллегорический рассказ Ивана Карамазова Алёше Карамазову на тему христианской свободы воли, свободы совести, она заключает в себе изложение позиции писателя на общество, православие, католицизм и занимает ключевое место не только в романе, но и во всей системе философских ценностей его автора – Ф.М. Достоевского.

майората. Я никогда не мог реализовать этой собственности, не получал от нее ни одного гроша и имел лишь расходы.

Наследство, сделавшее нас обладателями павильона, я получил от нашего умершего друга, Флоренс В., англичанки по происхождению, замужем за очень богатым французом. Она была своеобразный и интересный человек, очень красива, с сильным характером, глубоко религиозная в типе библейско-протестантском. Ее мучила потребность осуществления евангельского христианства в жизни. Лидия (его жена – поэтесса Бердяева, Лидия Юдифовна, урождённая Трушева – Е.Л.) была с ней очень дружна. У нас в доме в течение ряда лет был кружок по изучению Библии, в котором она играла главную роль. Ее память обо мне очень облегчила нашу жизнь. У меня всегда было странное отношение к материальным средствам. В изгнании я никогда не бедствовал, но часто нуждался и иногда не знал, чем буду существовать через несколько месяцев. Но всегда находился выход. У меня никогда не было материальной устроенности. Но мне свойственна была психология довольного богатого барина, который нуждался и попал в затруднительное материальное положение. Может быть, поэтому меня считали человеком состоятельным, даже когда я нуждался.

Я очень дорожу своим кабинетом с окнами в сад, своей библиотекой. Но собственность меня интересует исключительно как независимость, которая, впрочем, у меня была очень относительной.

Мне очень свойственно чувство тленности и эфемерности всех вещей в этом мире.

Вот опять то, что мне приходится переживать, очень начинает напоминать первые годы советской России. В богатой, обильной, свободной Франции карточки, хвосты, пустые магазины, исчезновение продуктов, связанность жизни, неопределенность завтрашнего дня. Однажды лакей одного дружеского мне княжеского дома сказал: «Зашаталась наша планета!» Я давно чувствовал, что зашаталась. Но это легче и осмысленнее переживать у себя дома, чем на, чужбине. Я никогда еще, кажется, не жил так внешне спокойно, уединенно, в отрешенности и погруженности в метафизические вопросы, как теперь, в самые катастрофические минуты европейской истории. Но неизвестно, что будет завтра.

Я не принадлежу к людям, особенно обращенным к прошлому. Но и я знаю обаяние красоты прошлого. В чем его тайна? Память о прошлом есть творческая, преображающая память, она делает отбор, она не воспроизводит пассивно прошлого. Красота прошлого не есть красота эмпирического бывшего, это есть красота настоящего, преображенного прошлого, вошедшего, в настоящее. Прошлое, вероятно, этой красоты не знало. Красота развалин не есть красота прошлого, это красота настоящего, в прошлом развалин не было, это были недавно построенные замки, дворцы, храмы и акведуки со всеми свойствами новизны. И так все. Все старинное, прекрасное в своей старинности есть настоящее, в прошлом не было этой старинности. Прошлое совсем было не старо, а молодо, это настоящее старо в одном своем аспекте.

Время есть величайшая метафизическая тайна и сплошной парадокс.

Потому-то так трудно писать о прошлом, потому-то правдивость в отношении к прошлому есть величайшая метафизическая тайна. Вспоминая прошлое, я сознательно совершаю творческий акт осмысливания и преображения. На этом основана моя книга. Это, прежде всего, книга осмысливания. Красота же прошлого не на моей памяти, которую я очень активно чувствую, совсем не есть моя пассивность, она также есть моя творческая активность. Подлинная жизнь есть творчество, и это единственная жизнь, которую я люблю. Я не могу пассивно воспринимать красоту: в творческом восприятии, в воспоминании, в воображении я ее творю. Без творческого подъема нельзя было бы вынести царства мещанства, в которое погружен мир.

Я пытался создать миф о человеке

Окончательная судьба человека не может быть решена лишь этой кратковременной жизнью на земле.

Персоналистическая революция, которой по-настоящему еще не было в мире, означает свержение власти объективации, разрушение природной необходимости, освобождение субъектов-личностей, прорыв к иному миру, к духовному миру. По сравнению с этой революцией ничтожны все революции, происходившие в мире. Моя окончательная философия есть философия личная, связанная с моим личным опытом. Тут субъект философского познания экзистенциален. В этом смысле моя философия более экзистенциальна, чем философия Гейдеггера или Ясперса.

Я могу сказать, что у меня был опыт изначальной свободы, и, в связи с ней, и творческой новизны, и зла, был острый опыт о личности и ее конфликте с миром общего, миром объективации, опыт выхода из власти общего, был опыт человечности и сострадания, был опыт о человеке, который есть единственный предмет философии. Я пытался создать миф о человеке. В опыте о человеке огромное значение имел Ницше. Он пережил патетически, страстно, мучительно и с необычайным талантом выразил тему: как возможна высота, героизм, экстаз, если нет Бога, если Бога убили. Но убитым оказался не только Бог, убитым оказался и человек, и возник жуткий образ сверхчеловека. Явление Ницше есть экзистенциальная диалектика о судьбе человека. Для меня это имело огромное значение. В Ницше я чувствовал эсхатологическую тему.

* * *

Мне очень свойственно эсхатологическое чувство, чувство приближающейся катастрофы и конца света. Это связано, вероятно, не только с моим духовным типом, но и с моей психо-физиологической организацией, с моей крайней нервностью, со склонностью к беспокойству, с сознанием непрочности мира, непрочности всех вещей, непрочности жизни, с моим нетерпением, которое есть и моя слабость.

Мое понимание христианства всегда было эсхатологическим, и всякое другое понимание мне всегда казалось искажением и приспособлением. Это совпадает со взглядами многих научных историков христианства. С конца XIX века, начиная с Вейсса из школы Ричля, возобладало эсхатологическое истолкование благодной вести о Царстве Божьем. Луази в качестве историка защищал эсхатологическое понимание христианства. Но мой эсхатологизм имел метафизический, а не исторический источник. Близок мне был А. Швейцер, а также отчасти Блумгардт и Рогац. Эсхатологизм связан был для меня с тем, что все мне казалось хрупким, люди угрожаемыми смертью, все в истории преходящим и висющим над бездной. Я и в личной жизни склонен был ждать катастроф и еще более в исторической жизни народов.

И я давно предсказывал исторические катастрофы. До первой мировой войны, когда о ней никто еще и не думал, я утверждал наступление катастрофической эпохи. Я ясно видел, что в мире происходит не только дехристианизация, но и дегуманизация, потрясение образа человека.

Понятным мне это представлялось лишь в перспективе эсхатологического христианства. У меня вообще слабо сознание длительного процесса во времени, процесса развития. Все мне представляется не переходным, а конечным. Это во мне очень глубокое личное чувство. Историю я вижу в эсхатологической перспективе. Я всегда философствовал так, как

будто наступает конец мира, и нет перспективы времени. В этом я очень русский мыслитель и дитя Достоевского.

При этом нужно сказать, что у меня никогда не было особенной любви к Апокалипсису и не было никакой склонности к его толкованию.

В апокалиптической литературе, начиная с книги Эноха, меня очень отталкивала мстительная эсхатология, резкое разделение людей на добрых и злых и жестокая расправа над злыми и неверными. Этот элемент мстительной эсхатологии очень силен в книге Эноха, он есть и в христианском Апокалипсисе, он есть у блаженного Августина, у Кальвина и многих других. Элемент садизма занимает большое место в истории религии, он силен и в истории христианства. Его можно найти в псалмах и он вошел в систему ортодоксального богословия. Только Ориген был вполне свободен от садического элемента, и за это он был осужден представителями ортодоксального садизма. Утверждение человечности христианства вызывает настоящую ненависть у тех многочисленных христиан, которые считают жестокость основным признаком ортодоксальности. Я иду дальше, я склонен думать, что в языке самих Евангелий есть человеческая ограниченность, есть преломленность божественного света в человеческой тьме, в жестоковыйности человека.

Жестокий эсхатологический элемент исходит и не от самого Иисуса Христа, он приписан Иисусу Христу теми, у кого он соответствует их природе.

Судебная теория выкупа есть человеческое привнесение. Я исповедую религию духа и твердо на этом стою. В историческом откровении дух затемнен человеческой ограниченностью и на откровение налагается печать социоморфизма. Христианство есть откровение иного, духовного мира и оно несоединимо с законом этого мира. Поэтому эсхатологическое христианство революционно в отношении к христианству историческому, которое приспособилось к миру и часто рабствовало у мира. Христианство аскетическое было обратной стороной христианства, приспособленного к миру. Эсхатологизм, к которому я пришел, совсем особенный и требует больших разъяснений. Он мало общего имеет с монашески-аскетической эсхатологией и во многом ей противоположен.

Монашеский аскетизм был соглашательством с миром и его эсхатологизм пассивно-послушный. Я же исповедую активно-творческий эсхатологизм, который призывает к преображению мира. Я наиболее выразил это в книгах «Дух и реальность» и «О рабстве и свободе человека». Я пришел к особому рода эсхатологической гносеологии. Эсхатология обозначает символическую объективацию трагедии сознания. Конец есть конец объективации, переход в субъективность царства свободы. Но самое эсхатологическое чувство тесно связано с вопросом о смерти.

Я говорил уже, что никогда не мог примириться ни с чем тленным и преходящим, всегда жаждал вечного и только вечное казалось мне ценным. Я мучительно переживал расставание во времени, расстояние в пространстве. Вопрос о бессмертии и вечной жизни был для меня основным религиозным вопросом. И я никогда не понимал людей, которые осмысливают свою перспективу жизни вне решений этого вопроса.

Нет ничего более жалкого, чем утешение, связанное с прогрессом человечества и блаженством грядущих поколений.

Утешения мировой гармонии, которые предлагают личности, всегда вызывали во мне возмущение. В этом я ближе всего к Достоевскому и готов стать не только на сторону Ивана Карамазова, но и подпольного человека. Ничто «общее» не может утешить «индивидуальное» существо в его несчастной судьбе. Самый прогресс приемлем в том лишь случае, если он совершается не только для грядущих поколений, но и для меня.

У меня никогда не было особенного страха перед собственной смертью, и я мало о ней думал. Я не принадлежу к людям, одержимым страхом смерти, как это было, например, у Л. Толстого. Очень мучителен был для меня лишь вопрос о смерти других, близких.

Но победа над смертью представлялась мне основной проблемой жизни. Смерть я считал событием более глубоким, более основным для жизни, более метафизическим, чем рождение. Я вспоминаю противоположение Розанова религии рождения и религии смерти и подаю свой голос против Розанова. Исповедовать религию смерти (такой он считал Христианство) значит исповедовать религию жизни, вечной, победившей смерть, жизни. Если представить себе совершенную вечную жизнь, божественную жизнь, но тебя там не будет и любимого тобой человека, не будет, ты в ней исчезнешь, то эта совершенная жизнь лишается всякого смысла. Смысл должен быть соизмерим с моей судьбой. Объективированный смысл лишен для меня всякого смысла.

Смысл может быть лишь в субъективности, в объективности есть лишь издевательство над смыслом. Поразительно, что люди с такой легкостью подчиняются преподносимому им смыслу, не имеющему, в сущности, никакого отношения к их неповторимой индивидуальной судьбе.

Мировая гармония, торжество мирового разума, прогресс, благо и процветание всякого рода коллективов – государств, наций, обществ, – сколько идолов, которым подчиняют человека или он сам себя подчиняет! О, как я ненавижу это рабство! Проблема вечной судьбы стоит перед всяким человеком, всяким живущим, и всякая объективация ее есть ложь.

Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем.

Думая о себе, я прихожу к тому заключению, что мной движет восстание против объективации, объективации смысла, объективации жизни и смерти, объективации религий и ценностей. Предельную же ложь и зло я вижу в объективации и понимании ада, как входящего в божественный порядок.

Христос победил смерть. Победа эта совершилась в субъекте, то есть в подлинной перво-жизни и перво-реальности. Объективация этой победы есть экзотерическое приспособление к среднему уровню сознания. Всякая объективация есть применение наших категорий и понятий к божественным тайнам. Объективация носит социологический характер и носит на себе печать социоморфизма.

К Богу неприменимы наши категории. И их так усердно и так принудительно применяли, что стало стыдно употреблять священное слово Бог.

О, Бог совсем, совсем не то, что о нем думают. Но меня совсем не удовлетворяет очищенное спиритуалистическое учение о бессмертии души, как и идеалистическое учение о бессмертии универсального идеального начала. Эти учения отрицают трагедию смерти и не направлены на конкретную целостную личность. Только христианское понимание направлено на всего человека, на образ личности. У греков бессмертны были боги, человек же был смертным. Достоинство бессмертия было признано сначала за героями, полубогами, сверхчеловеками. Но это значило, что бессмертие признавалось лишь за сверхчеловеческим, божественным, а не за человеческим. Интересно, что Ницше опять возвращается к греческому сознанию, у него бессмертен не человек, человек обречен на исчезновение, у него бессмертен новый бог, сверхчеловек, да и то не по-настоящему. А Заратустра более всего любил вечность. Диалектика Ницше направлена против человека, хотя он патетически переживал судьбу человека. Возможно ли бессмертие, вечная жизнь для человека, для человеческого в человеке? В платонизме тоже нет бессмертия человеческого, в «Федоне» бессмертна не столько индивидуальная душа, сколько душа универсальная. То же в германском идеализме.

Только христианство по-настоящему утверждает бессмертие всего человека, всего человеческого в нем, за исключением привнесенной грехом и злом тленности. Есть единственность христианства в его последовательном персонализме. Душа человека дороже царств мира, судьба личности первее всего. Этого персонализма нет, например, в теософии-

ческих учениях, которые разлагают личность на космические элементы и слагают их уже в другую личность. Но христианство не отрицает трагедии смерти, оно признает, что человек проходит через разрыв целостной личности. Это совсем не есть эволюционно-оптимистический взгляд на смерть.

Я отрицаю одноплановое перевоплощение, то есть перевоплощение душ в этом земном плане, так как вижу в этом противоречие с идеей целостной личности. Но я признаю многоплановое перевоплощение, перевоплощение в другом духовном плане, как и пред-существование в духовном плане.

Окончательная судьба человека не может быть решена лишь этой кратковременной жизнью на земле. В традиционной христианской эсхатологии есть ужасная сторона. Тут я подхожу к теме, которая меня мучит гораздо более, чем тема о смерти. Проблема вечной гибели и вечного ада – самая мучительная из проблем, которые могут возникнуть перед человеческим сознанием. И вот что представлялось мне самым важным. Если допустить существование вечности адских мук, то вся моя духовная и нравственная жизнь лишается всякого смысла и всякой ценности, ибо протекает под знаком террора. Под знаком террора не может быть раскрыта правда.

Меня всегда поражали люди, которые рассчитывали попасть в число избранных и причисляют себя к праведным судьям. Я себя к таким избранным не причислял и скорее рассчитывал попасть в число судимых грешников. Самые существенные мысли на эту тему я изложил в заключительной главе моей книги «О назначении человека», и я это причисляю, может быть, к самому важному из всего, что я написал. Ее очень оценил Н. Лосский. Я не хочу просто повторять этих мыслей. Скажу только, что эти мысли родились у меня из пережитого опыта. Наибольшее противление у меня вызывает всякая объективация ада и всякая попытка построить онтологию ада, что и делают традиционные богословские учения. Я вижу в этом догматизирование древних садических инстинктов человека. У человека есть подлинный опыт адских мук, но это лишь путь человека и лишь пребывание в дурном времени, бессилие войти в вечность, которая может быть лишь божественной. Существование вечного ада означало бы самое сильное опровержение существования Бога, самый сильный аргумент безбожия. Зло и страдание, ад в этом времени и этом мире обличает недостаточность и неокончателность этого мира и неизбежность существования иного мира и Бога. Отсутствие страдания в этом мире вело бы к довольству этим миром, как окончательным. Но страдание есть лишь путь человека к иному, к трансцендированию. Достоевский считал страдание даже единственной причиной возникновения сознания. И сознание связано со страданием. Ницше видел героизм в победе над страданием, победе, не ждущей награды. Таков путь человека. Таков горький путь познания.

По непосредственному своему чувству, предшествующему всякой мысли, я не сомневался в бессмертии. Смерть была для меня скорее исчезновением «не-я», чем исчезновением «я», была мучительным разрывом, расставанием, прохождением через момент уединения («Боже, Боже, почто Ты меня оставил!»). Но этим не решалась проблема личной судьбы. Все это связано для меня с основной философской проблемой времени, о которой я более всего писал в книге «Я и мир объектов». Проблема времени, парадокс времени лежит в основе эсхатологической философии истории.

Я твердо верю, что Божий не походит на суд человеческий. Это суд самого подсудимого, ужас от собственной тьмы вследствие видения света и после этого преобразование светом. (...)

Эсхатологическое сознание означает также переход от истории к метаистории. История происходит в своем историческом времени, вставленном во время космическое. Метаистория же вкоренена во времени экзистенциальном и лишь прорывается во время историческое. В истории могут начаться события, которые будут все более и более принимать

характер метаисторический, и это будет как бы время исторических чудес. Два выхода открываются в вечность: индивидуальный выход через мгновение и исторический выход через конец истории и мира. Достигнутая в мгновении вечность остается навеки, «вечное» и есть навеки остающееся, но мы сами выпадаем из мгновения вечности и вновь вступаем во время. Ад есть посмертное выпадение из вечности и вступление в смертоносное время, но оно лишь временное, а не вечное. Об этом я постоянно медитирую.

И я верю последней, окончательной верой в последнюю, окончательную победу Бога над силами ада, в Божественную Тайну, в Бога, как Тайну, возвышающуюся над всеми категориями, взятыми из этого мира.

Окончательная победа Бога над силами ада не может быть разделением на два царства, Божье и дьявольское, спасенных и обреченных на вечную муку, оно может быть лишь единым царством. Судебное разделение мира и человечества посюстороннее, а не потустороннее. Христианская эсхатология была приспособлена к категориям этого мира, ко времени этого мира и истории, она не вышла в иной эон. Такова моя вера.

В последние годы я много читал по библейской критике, по научной истории еврейства и христианства. Эта очистительная критика ставит очень серьезную и глубокую религиозно-метафизическую проблему. Моя вера не может быть прикована к сомнительным фактам исторического времени, колеблющимся от ветра. На этой зыбкой почве многие потеряли всякую веру. Метаисторическое откровение просвечивает в истории, но оно не есть историческое откровение. В историческом откровении много слишком человеческого.

Я очень ценил и ценю многие мотивы русской религиозной мысли: преодоление судебного понимания христианства, истолкование христианства как религии Богочеловечества, как религии свободы, любви, милосердия и особой человечности, более, чем в западной мысли выраженное эсхатологическое сознание, чуждость inferнальной идее предопределения, искание всеобщего спасения, искание Царства Божьего и правды Его. (...)

Чистая духовность и чистая человечность мало доступны людям. Чистая человечность кажется среднему человеку чуждой, далекой и недоступной. Чистая человечность – божественна, желанна Богу. Сущность христианства и величайшая его новизна была в раскрытии человечности Бога, в боговочеловечении, в преодолении пропасти между Богом и человеком. Эта истина о боговочеловечности скрыта за условными и символическими формами догмата. Все, что в христианстве и даже в Евангелиях противоположно этой вечной божественной человечности, есть экзотерическое, для внешнего употребления, педагогическое, приспособленное к падшей человеческой природе. Но педагогика, годная для одной эпохи, может оказаться негодной и вредной для другой.

Человечество вступило в возраст, когда в религии элемент устрашающий и грозный жестокими карами оказывается лишь на руку воинствующему безбожию.

Если идея ада раньше удерживала в церкви, то сейчас она лишь отталкивает от церкви, как идея садическая, и мешает вернуться в нее. Судебная религия больше не годна для человека, человек слишком истерзан миром. Судебность целиком переходит к царству кесаря, и кесарь отлично умеет устрашать ею людей. Для моего религиозного чувства и сознания неприемлемы и те элементы самого Евангелия, которые носят судебный, карательный характер и устрашают адом.

Я каждый день молюсь о страдающих адскими муками и тем самым предполагаю, что эти муки не вечны, это очень существенно для моей религиозной жизни.

Главный аргумент в защиту Бога все же раскрывается в самом человеке, в его пути. Были в человеческом мире пророки, апостолы, мученики, герои, были люди мистических созерцаний, были бескорыстно искавшие истину и служившие правде, были творившие подлинную красоту и сами прекрасные, были люди великого подъема, сильные духом. Наконец, было явлено высшее иерархическое положение в мире, единственно высокое иерархическое

положение – быть распятым за Правду. Все это не доказывает, но показывает существование высшего, божественного мира, обнаруживает Бога. Меня очень утомила игра интеллектуальными понятиями богословия и метафизики, и я верю лишь духовно-опытному доказательству существования Бога и божественного мира. У меня есть настоящее отвращение к богословско-догматическим распрям. Я испытываю боль, читая историю Вселенских соборов. Мне скажут, что моя вера есть философия, а не религия. Я философ и не вижу ничего унижительного для себя в том, чтобы называть философией то, что я пишу. Мне даже думается, что философская форма говорит о стыдливости. В богословии часто бывало бесстыдство. И все-таки написанное в этой главе выходит за пределы философии и есть исповедание веры. Моя философия определяется этой верой, рождается из духовного опыта. Все определяется для меня этим внутренним духовным опытом. Практический же вывод из моей веры оборачивается обвинением против моей эпохи: будьте человечны в одну из самых бесчеловечных эпох мировой истории, храните образ человека, он есть образ Божий.

Низкое мнение о людях, которое очень питается нашей эпохой, не может пошатнуть моего высокого мнения об идее человека, о Божьей идее о человеке. Я переживаю жизнь как мистерию Духа. Вся жизнь мира, вся жизнь историческая есть лишь момент этой мистерии Духа, лишь проекция во вне, объективация этой мистерии.

Я глубоко чувствую себя принадлежащим к мистической Церкви Христовой. И это сильнее моих распрей с церковью экстериоризированной, в мире историческом и социальном. Цель жизни – в возврате к мистерии Духа, в которой Бог рождается в человеке и человек рождается в Боге. Возврат должен совершаться с творческим обогащением. Но в вечности нет различия между движением вперед и возвратом. Только заверительное откровение Святого Духа и может быть окончательным откровением Троичного Божества. (...)

Я не учитель жизни, не отец отечества, не пастырь, не руководитель молодежи, ничего, ничего подобного. Я продолжаю воспринимать себя юношей, почти мальчиком, даже в зеркале, за чертами своего постаревшего лица, я вижу лицо юноши. Это мой вечный возраст. Я остаюсь мечтателем, каким был в юности, и врагом действительности. Во мне нет старческой мудрости, и от ее недостатка я страдаю. Во мне, часто больном и физически ослабевшем, остается слишком большая впечатлительность и страстность. Я остаюсь в своем вечном возрасте юности. Старости духа нет, в духе есть вечная юность. Есть лишь старость тела и той части души, которая связана с телом. Есть старческие чудачества. Есть раздражительность в отношении к действительности. Но мысль еще более обостряется. Все обновляется для мысли. Очень увеличивается возможность сравнений, сравнений не только впечатлений от людей и событий, но и впечатлений от книг. По-прежнему я думаю, что самое главное – достигнуть состояния подъема и экстаза, выводящего за пределы обыденности, экстаза мысли, экстаза чувства.

Моя всегдашняя цель не гармония и порядок, а подъем и экстаз.

Мир не есть мысль, как думают философы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть, прежде всего и больше всего, – страсть и диалектика страсти. Страсть сменяется охлаждением. Обыденная действительность и есть это охлаждение, когда начинают господствовать интересы и борьба за существование. Ошибочно противопоставлять страсти – мысль, мысль есть тоже страсть. Мысль Ницше или Достоевского так волнует потому, что это страсть. И Христос хотел низвести огонь с неба. Но страсть сопрягается с тоской. Тоска вызывается не только смертью, которая ставит нас перед вечностью, но и жизнью, которая ставит нас перед временем.

Так как жизнь есть, прежде всего, движение, то основная проблема жизни есть проблема изменения, изменения собственного и изменения окружающих. В связи с движением и изменением происходят переоценки. Личности нет без изменения, но личности нет и без неизменности, верно себе субъекта изменения. «Все, что изменяется, пребывает, а меня-

ется только его состояние», – говорит Кант в первой апологии опыта. Изменение может быть улучшением, восполнением, восхождением, но может быть и ухудшением, может быть изменой. И вся задача в том, чтобы изменение не было изменой, чтобы в нем личность оставалась верной себе.

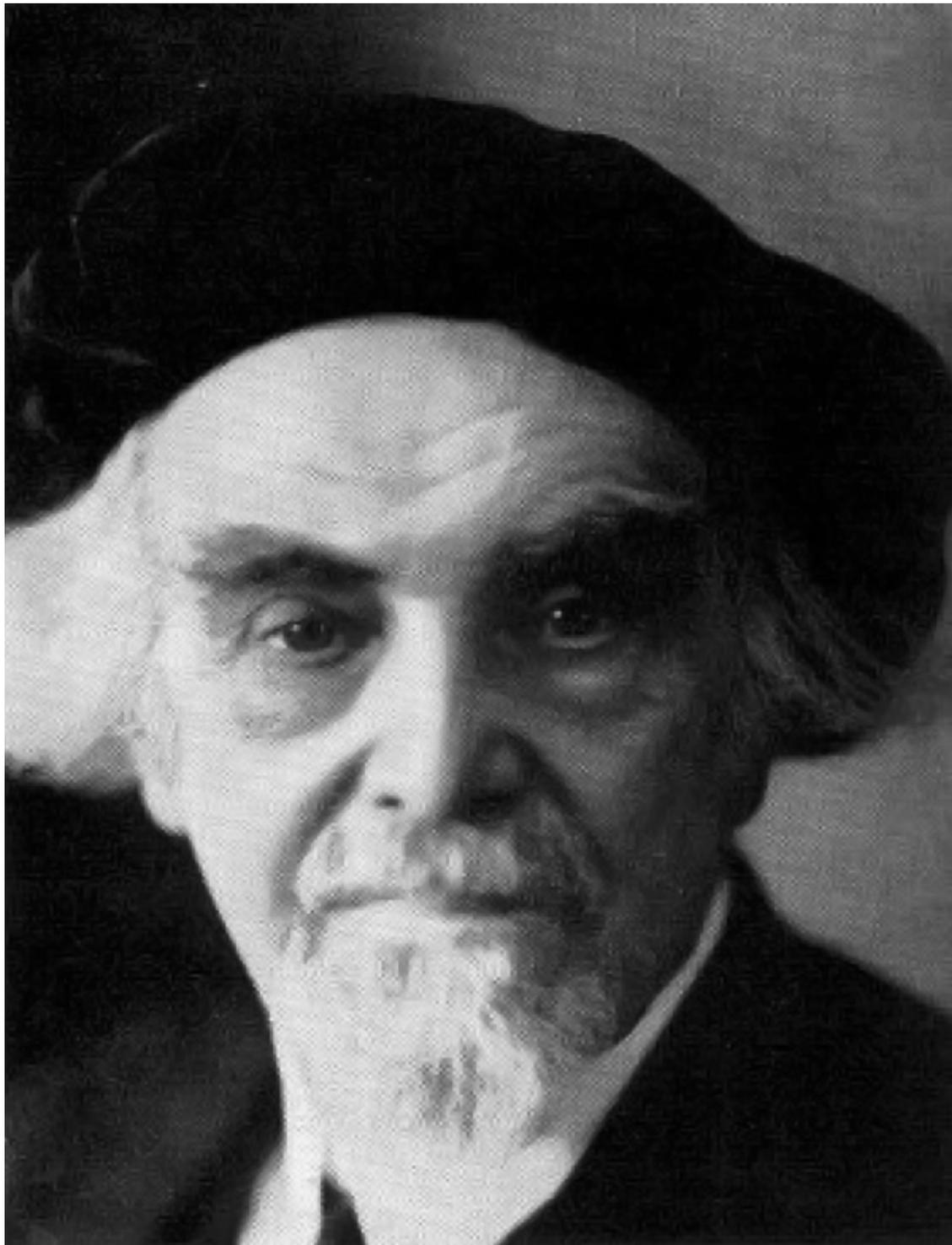
Тут мы встречаемся с одним из самых тяжелых явлений человеческой жизни – с разочарованием в людях. Люди узнаются лучше всего в испытаниях, в катастрофах, опасностях, это стало истиной банальной. Так как мне пришлось жить в эпоху исторических катастроф и порожденных ими ужасов жизни, то я был свидетелем больших изменений и трансформаций людей. Я не знаю ничего более мучительного, чем трудность узнать хорошо известных людей, вследствие изменений, которые они пережили от приспособления к новым условиям после катастрофы. Я это видел в катастрофах, пережитых Россией, я это слышал о Германии, я это вижу во Франции. Мне это трудно понять вследствие отвращения, которое я испытываю к каждой данной действительности и к тем, которые в ней господствуют.

Но я был свидетелем и обратного. Были люди, которые поражали меня своей высотой в испытаниях и опасностях. Часто я не ожидал этого от них. Более всего меня поражали некоторые женщины, которые, в общем, выносливее и устойчивее мужчин. Я стал относиться к женщинам лучше, чем в молодости.

Обратной стороной одиночества была для меня всегда проблема общения. Я всегда очень мечтал об общении и всегда очень плохо умел его осуществлять. И тут я опять сталкиваюсь с проблемой изменения. Иногда характер общения у меня изменялся, и оно даже совсем прекращалось, вследствие изменения во мне самом или в других людях. Это изменение во мне могло быть улучшением, обогащением, тем, что называют «развитием». Но вследствие развития личности могла происходить измена. И в этом есть что-то очень тяжелое. Я это переживаю, как забвение, забвение, происшедшее от того, что сознание сосредоточилось на другом. Обогащение личности, развитие ее в широту и высоту может породить обеднение в человеческом общении, разрыв с людьми, с которыми раньше был связан. Таким образом, человек превращается в орудие саморазвития, и отношение к нему не имеет ценности в себе, как не имеет этой ценности и другой человек. В этом есть что-то совершенно антиперсоналистическое.

Последние годы жизни

Я верил в великую миссию России.



За эти тяжелые годы (1940-46 годы) произошло много значительных внешних и внутренних событий. Многое углубилось для меня вследствие пережитых мучительных состояний. И самые пережитые мной сомнения мне представляются порождением религиозной

глубины. Произошло событие такого размера, как вторая мировая война, исход которой сначала представлялся неясным и темным. Это было очень большое потрясение для всех народов и для всех людей, населяющих нашу землю. Я всегда ждал все новых и новых катастроф, не верил в мирное будущее, и для меня не было ничего неожиданного в том, что мы вступили в остро катастрофический период. Началось время сирен и бомбардировок. К бомбардировкам я был равнодушен, не испытывал никакого страха. Ночью, просыпаясь от бомбардировки довольно близкой, я поворачивался на другую сторону и засыпал. В погреб мы не сходили. Иногда смотрели на очень красивое зрелище воздушной борьбы, когда небо бывало ярко освещено. Все это было еще до появления немцев во Франции. Предстояло еще пережить два события огромной важности – немецкую оккупацию Франции и войну Германии против России. Это не были только внешние события – это был внутренний опыт, имеющий влияние на духовную жизнь. (...)

Я отказался ехать в Америку, куда меня усиленно приглашали. Но я не мог спокойно видеть немецких мундиров, все во мне дрожало. И тогда еще не было войны против России. Я все время писал мою философскую автобиографию. Когда я вернулся домой, в начале сентября, то скоро почувствовал, что мое положение не безопасно. Я писал против гитлеризма, национал-социализма и фашизма, и обо мне знали, что я идейный противник. Начались аресты русских. В русской атмосфере было что-то тяжелое, были сторонники Гитлера и немцев. Все это очень обострилось, когда началась война против России. Вторжение немцев в русскую землю потрясло глубины моего существа. Моя Россия подверглась смертельной опасности, она могла быть расчленена и поработана. Немцы заняли Украину и дошли до Кавказа.

Поведение их в оккупированных частях России было зверское, они обращались с русскими как с низшей расой. Это слишком хорошо известно. Было время, когда можно было думать, что немцы победят. Я все время верил в непобедимость России. Но опасность для России переживалась очень мучительно. Естественно присущий мне патриотизм достиг предельного напряжения. Я чувствовал себя слитым с успехами Красной армии. Я делил людей на желающих победы России и желающих победы Германии. Со второй категорией людей я не соглашался встречаться, я считал их изменниками. В русской среде в Париже были элементы германофильские, которые ждали от Гитлера освобождения России от большевизма. Это вызывало, во мне глубокое отвращение. Я всегда, еще со времени моей высылки из России в 1922 году, имел международную ориентацию советскую и всякую интервенцию считал преступной.

Я никогда не поклонялся силе, но силу, которая была проявлена Красной армией в защите России, я считал providенциальной. Я верил в великую миссию России.

В Париже было очень тяжело. Начались аресты друзей, и некоторые друзья, депортированные в Германию в качестве политических, погибли там в очень трагической обстановке. У меня несколько раз были представители гестапо и расспрашивали меня о характере моей деятельности. Но никаких прямых обвинений против меня выставить не могли. В швейцарской газете было напечатано, что я арестован. Через несколько дней явились представители гестапо, как и всегда двое, чтобы узнать, чем вызван слух о моем аресте. Я говорю по-немецки, и это облегчало разговор. Мне сказали, что из Берлина был сделан запрос, что значит газетное сообщение об аресте столь известного и ценимого в Германии философа, как Бердяев. По словам представителя гестапо, это вызвало переполох, что, конечно, было преувеличением. Но я себе не раз задавал вопрос, почему я не был арестован, когда арестовывали с такой легкостью и без достаточных оснований. Своих взглядов я никогда не скрывал. Я очень не люблю, когда люди преувеличивают свою известность и свое значение, мне чуждо такого рода самочувствие. Но моя большая известность в Европе и Америке, в частности в самой Германии, была одной из причин, почему арестовать меня без слишком серьез-

ных причин немцы считали невыгодным. Я шутя говорил, что тут обнаружилось почтение немцев к философии. Мне потом говорили, что в верхнем слое национал-социалистов был кто-то, кто считал себя моим почитателем как философа и не допускал моего ареста.

За эти страшные годы у меня не могло быть никакой внешней активности. Я сидел в своем Кламарском доме, сравнительно редко ездил в Париж. В парижских кафе, которые стали опасным местом, я вообще никогда не бывал и в прошлом. За двадцать лет я, может быть, раза три бывал в кафе. Я ведь феодал по своему характеру, сидящий в своем замке с поднятым мостом. Ни в каких начинаниях, хотя бы отдаленно связанных с немцами, я не соглашался принимать участия. Поэтому я не мог читать публичных лекций и докладов. Я много писал, пользовался этим временем для сосредоточенного философского творчества. Но у нас в доме по воскресеньям собирались патриотически настроенные русские, иногда даже читались доклады. Наш дом был одним из центров патриотических настроений. Нередко бывали и французы. В годы оккупации были интересные собрания у Море, посвященные главным образом мистическим и духовным вопросам. Я читал два доклада – о мессианизме и о религиозной драме Ницше. Кроме собраний у Море было еще начинание mademoiselle Дави, очень ученой женщины, нашего нового друга. Это были курсы, посвященные духовным исканиям. Там я прочел несколько лекций на тему «Мессианская идея и проблема истории». Это был круг, главным образом, левых католиков, но участвовали и протестанты, и православные, и свободные искатели. М-ле Дави устраивала также съезды под Парижем в великолепной усадьбе. Первый съезд был посвящен обсуждению только что вышедшей во Франции моей книги «Дух и реальность». На этом съезде у меня были идейные столкновения с некоторыми католиками, особенно с Габриелем Марселем, который признал меня анархистом. За эти годы я познакомился с Роменом Ролланом, который был женат на русской, на вдове моего племянника. В Ромене Роллане я почувствовал значительность нравственной личности. Его симпатии к советской России и к русскому коммунизму совсем не означали симпатий к материализму. Наоборот, он был спиритуального направления. Он с большим сочувствием читал мою книгу «Дух и реальность» и очень хорошо написал обо мне в своей книге о Ш. Пеги, он видел в моей идее об объективации некоторое родство с Пеги, что лишь отчасти верно.

Смерть любимой жены

Смерть есть ужас расставания и вместе с тем продолжение духовного общения.

В ныне кончившемся 1945 году очень возросла моя известность. Меня начали ценить гораздо больше, чем раньше. Весной 1947 года Кембриджский университет сделал меня доктором теологии *honoris causa*. Я участвовал в средневековой церемонии выдачи доктора, в красной мантии и особой бархатной шапочке. Я постоянно слышу, что у меня «мировое имя». Ко мне постоянно приезжают иностранцы, я получаю неисчислимое количество писем. Обширная переписка составляет мое несчастье, так как я мучительно не люблю и не умею писать писем. Иногда я прихожу в отчаяние от количества писем, на которые нужно отвечать.

К моему удивлению, я стал очень почитаемым, почтенным, значит, уже солидным, почти что учителем жизни, руководящим умом. Это совершенно не соответствует моему самочувствию. Я хотел бы, чтобы мне поверили читатели этой автобиографии, что я совсем не почтенный и не солидный человек, совсем не учитель жизни, а лишь искатель истины и правды, бунтарь, экзистенциальный философ, понимая под этим напряженную экзистенциальность самого философа, но не учитель, не педагог, не руководитель. Моя возрастающая известность давала мне мало радости жизни, мало счастья, в которое я вообще мало верю. Я очень мало честолобив. И во мне есть сильный меланхолический элемент, который, вероятно, не замечают вследствие моей сдержанности, любви к остроумию и «к шутливости».

Все это совпало с очень несчастным периодом моей жизни. Лидия тяжело заболела параличом мускулов горла с возрастающим затруднением речи и глотания пищи. Она выносила эту мучительную болезнь изумительно. Силы ее слабели. В конце сентября 1945 года Лидия умерла. Это было одно из самых мучительных и вместе с тем внутренне значительных событий моей жизни. Смерть Лидии не была мучительной, она была духовно просветленной. Переживая ее смерть, я многому научился. Это было для меня переживание огромной важности. У Лидии была необыкновенная сила веры, такой силы веры я ни у кого не встречал. Смерть ее была высокой вследствие ее напряженной духовности. Она до конца сохранила ясность сознания и все, что говорила, вернее писала, перед смертью, было прекрасно. Почти до самого конца она писала стихи. Я хочу издать ее стихи. Она сама к этому не стремилась, у нее не было никакого честолобия, был большой аристократизм. Она все время читала мистические книги и делала заметки о прочитанном. Она все более сознавала себя принадлежащей к грядущей религии Святого Духа, но сохраняла неразрывную связь с церковью. Перед сном я каждый день заходил в комнату Лидии, и мы вели духовно-мистические беседы. Я так любил это время дня и все время вспоминаю об утраченном.

Не могу примириться со смертью близкого, любимого существа. Не могу примириться с безвозвратностью, с образовавшейся пустотой. Не могу примириться с конечностью человеческого существования. Не может не быть требования встречи и вечной жизни вместе.

Очень тронуло меня выражение всеобщей любви к Лидии после ее смерти. Я говорю об одной стороне смерти, но есть другая сторона. Смерть есть не только предельное зло, в смерти есть и свет. Есть откровение любви в смерти. Только в смерти есть предельное обострение любви. Любовь делается особенно жгучей и обращенной к вечности. Духовное общение не только продолжается, но оно делается особенно сильным и напряженным, оно даже сильнее, чем при жизни. Я сказал Лидии перед смертью, что она была огромной духов-

ной поддержкой моей жизни. Она мне написала, что будет продолжать быть такой поддержкой. И это верно.

Вот еще что я подумал о значении смерти. Об умерших близких людях обыкновенно с трудом припоминают плохое, которое, может быть, и было в жизни, припоминают лишь хорошее. Общая мудрость утверждает, что об умерших не нужно говорить дурно, нужно или говорить хорошее, или молчать. Что это значит? Смысл этого более глубокий, чем думают. В смерти есть просветление, лица покойников иногда делаются прекрасными, потому что начинается преобразование человека для вечности, отпадает все дурное. И если мы творчески активно вспоминаем о покойнике лишь хорошее, то потому, что этим участвуем в преобразовании человека, активно помогаем этому преобразованию. Когда в исторической перспективе начинают говорить и писать об умерших дурно и даже считают долгом так говорить во имя правды, то потому, что умерший тут возвращается к земной истории, в которой добро перемешано со злом, свет с тьмой. Тогда человек рассматривается не в перспективе его преобразования и просветления.

Смерть остается для нас парадоксом. Она есть предельное зло, расставание, с которым нельзя примириться, и она есть потусторонний свет, откровение любви, начало преобразования. Любовь и смерть связаны, но любовь сильнее смерти. Смерть есть ужас расставания и вместе с тем продолжение духовного общения. Когда после близости смерти мы возвращаемся к жизни, то чувствуется, что все ничтожно по сравнению со смертью.

Смерть есть событие во времени и говорит о власти времени. Но она также есть событие, обращенное к вечности, по ту сторону времени.

Я пережил смерть Лидии, приобщаясь к ее смерти, я почувствовал, что смерть стала менее страшной, в ней обнаружилось что-то родное. Мы остались вдвоем с Женей, близким другом и особенным человеком, которая трогательно обо мне заботится. Не знаю, как бы я мог жить, если бы и она ушла из этой жизни. Каждый день мы ведем с ней умственные и духовные беседы, иногда спорим. Она многое хорошо понимает в моих мыслях и близка к ним. Мое отношение к ней всегда было исключительным. Я думаю о глубоком драматизме моей жизни, который, вероятно, сделается не более понятным от чтения этой моей автобиографии.

Есть конфликты не преодолимые в пределах земной жизни. Преодолимы ли они в вечной жизни?

Иногда я задаю себе вопрос, оставлю ли я после себя что-нибудь вполне понятное для будущих поколений? Я человек известной эпохи, отражавший ее противоречия и борьбу, и вместе с тем восставший против эпохи и обращенный к грядущему. Человек несет в себе особый мир, с трудом понятный другим людям. И все же общение этих разных человеческих миров возможно, и нужно к нему стремиться. Вопрос этот не решается ясностью мысли, которая у меня довольно большая.

Иногда кажется, что мой человеческий мир не похож на другие человеческие миры и что мой Бог не похож на Бога других людей. Общим же, скажем, наиболее понятным, является наиболее банальное, лишенное индивидуальности, отвлеченно-общее. Великая задача, к которой нужно стремиться, это достигнуть общности, общения, понимания в наиболее индивидуальном, оригинальном, единственном. Это и есть трудная задача так называемой экзистенциальной философии, которая выходит за пределы общеобязательного, объективированного, социализированного познания.

Остается последний, самый важный опыт, в котором многое должно открыться и который не может быть описан ни в какой автобиографии, это опыт смерти. На этих размышлениях кончаю свою книгу», – так заканчивается предпоследняя глава его книги «Самопознание. Опыт философской автобиографии» в последней главе он ужасается тому, во что стала превращаться послевоенная Россия: «Мое критическое отношение ко многому, про-

исходящему в советской России (я хорошо знаю все безобразное в ней), особенно трудно потому, что я чувствую потребность защищать мою родину перед миром, враждебным ей. Остается мучиться, не находя гармонического разрешения. В последнее время я опять остро чувствую два начала в себе: с одной стороны, аристократическое начало, аристократическое понимание личности и творческой свободы; с другой стороны, сильное чувство исторической судьбы, не допускающее возврата назад, и социалистические симпатии, вытекающие из религиозного источника. Я не могу не соединять в себе эти два начала.

Я продолжаю думать, что изменения и улучшения в России могут произойти лишь от внутренних процессов в русском народе».

Прожив 74 года, из них 25 лет вдали от родины в ссылке на чужбине, Николай Александрович Бердяев скончался в 1948 г. в своём доме в Кламаре от разрыва сердца. Душа его и сердце всегда болели за Россию и свободу. За две недели до смерти он завершил книгу «Царство Духа и Царство Кесаря», и у него уже созрел план новой книги, написать которую он не успел...

Эволюционировал ли человек? Комментарий

Со дня смерти Николая Александровича прошло 70 лет. В его любимой России завершилась эпоха социализма и началась... Ну что-то у нас сейчас есть, *что это было* определяют потом историки (те, кто сейчас подумал: «Перестройка», – подумайте еще раз: социально-экономическая формация Перестройка? Вы серьезно? Еще страннее звучит: Постсоветский строй...). Но я здесь хочу отметить другой аспект – правоту Бердяева в его своеобразном эсхатологизме: непрерывность умираний и рождений.

Старый мир умер. Очередной раз. Потому что началась совершенно иная эпоха – человек вышел в космос. Неуместно в книге о Бердяеве уделять много места тому, чему он не мог быть свидетелем¹⁷. Но он это явно предчувствовал: «В пятницу, 4 октября 1957 года, в СССР с космодрома Байконур, в 22:28:34 по московскому времени (19:28:34 по Гринвичу) был совершён успешный запуск ПЕРВОГО искусственного спутника Земли. Простейший Спутник-1 (ПС-1) представлял собой сферический контейнер диаметром 580 мм и массой 83,6 кг с четырьмя антеннами. Через 314,5 секунд после старта произошло отделение Спутника, и он подал свой голос. „Бип! Бип!“», – так звучали его позывные. На полигоне их слышали всего две минуты, потом спутник ушёл за горизонт. Люди на космодроме выбежали на улицу, кричали «Ура!», качали конструкторов и военных. И ещё на первом витке прозвучало сообщение ТАСС: «...В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли...» А затем именно из России – тогда СССР – первый человек вышел в космос. И первая орбитальная станция и первый *фактический личный выход* человека в космос – тоже заслуги России!

Обратите внимание: многие истории и свежие трактовки более ранних прогностических источников, *вычисляющие конкретную дату конца света* стартуют именно после 1957 года. Парадокс? Отнюдь. О чем это нам говорит? Помимо очевидного факта, что маленький металлический шарик с рожками, изготовленный руками человека, стал первым **НОВЫМ** планетарным телом? Он пробил *изнутри* кокон планеты, и в это отверстие хлынули потоки энергии и информации, которые, несомненно, повлияли на людей. Но в целом, если задуматься, что находится там, где кончается что-то одно? Конечно! Начало чего-то другого! Так что же мы можем найти в конце света? Начало света – как отмечал и Николай Александрович.

Умер и старый, прежний, человек. Очередной раз. Я сопоставила время появления нового типа людей со временем выхода человека в космос и поняла, что «иные» на самом деле появились среди нас тогда же: «Первое использование слова „хиппи“ зафиксировано в передаче одного из нью-йоркских телеканалов, где этим словом была названа группа молодых людей в майках, джинсах и с длинными волосами, протестующих против вьетнамской войны¹⁸. В то время было популярным сленговое выражение „to be hip“, означавшее „быть в курсе“, «быть „мировым“», а нью-йоркские сторонники контркультуры из Гринвич-Виллиджа назывались «hipps». В данном случае телевизионщики использовали слово hippie уни-

¹⁷ Тем более, что это цитаты из моей, еще только пишущейся, книги «Начало света».

¹⁸ Война во Вьетнаме – один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль. В целом все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х годов и до 1975 года, известны как Вторая Индокитайская война.

чижительно, намекая на претензии намеренно плохо одетых демонстрантов, пришедших из пригородов Нью-Йорка, быть hips», – сообщает Википедия.

Расцветом движения хиппи можно считать 1965 год в США. Основным принципом субкультуры являлось ненасилие (ахимса). Хиппи носили длинные волосы, слушали рок-н-ролл (в особенности «I've Got You Babe» Сонни и Шер), жили в коммунах (самые известные ныне коммуны находились в Хайт-Эшбери, районе Сан-Франциско, позже в Дании – Свободный город Христиания), путешествовали автостопом, увлекались медитацией и восточной мистикой и религиями, главным образом дзэн-буддизмом, индуизмом и даосизмом, многие из них были вегетарианцами. Поскольку хиппи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, а также использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «детьми цветов». Это первые люди на Земле, которые НЕ МОГЛИ, т. е. были совершенно не способны убивать.

Детьми хиппи стали индиго: «Первые Дети Индиго начали рождаться в конце 70-х годов двадцатого века. Тогда их были единицы. В 80-х годах они составляли 15%. По некоторым подсчётам, сейчас на нашей планете около 60 миллионов Индиго» Следующее поколение – Кристальные дети. Дети Индиго и Кристальные дети пришли на Землю с одной миссией. Они хотят дать жизнь новой более совершенной цивилизации людей, и донести уже существующим людям новые истины. К сожалению, ни детей Индиго, ни Кристальных детей мы еще из-за ограниченности сознания понять не можем. Дети Индиго и Кристальные дети отличаются от обычных людей особым строением ДНК, необычным мышлением и одаренностью.

С малых лет Индиго и Кристальные дети могут видеть вещие сны, разговаривать с животными, предсказывать будущее, исцелять. Родители детей Индиго и Кристальных детей уже с рождения знают об одаренности своих малышей. Говорят, они смотрят на них глазами полными смысла и мудрости. Работа этих детей заключается в создании нового общества, основанного на любви и взаимной поддержке. Это общество, которое существует за рамками дуальности, в пространстве единства. Это групповой проект, в котором участвуют дети по всей Планете, и он служит для того, чтобы объединить человеческую семью на основе концепции Нового общества или Золотой эры для планеты Земля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.